



АНАЛИЗ **МИРОВЫХ СИСТЕМ** **ВВЕДЕНИЕ**

Иммануил Валлерстайн

Иммануил Валлерстайн

Анализ мировых систем: Введение

©Wallerstein, Immanuel Maurice, Análisis de sistemas-mundo: una introducción / por Immanuel Wallerstein ; traducción de Carlos Daniel Schroeder. — México : Siglo XXI, 2005.

Перевод и редакция: DJSI, 2025 г.

БЛАГОДАРНОСТИ

Когда я согласился написать эту книгу, совершенно случайно получил приглашение от Международного университета Менендеса Пelayo в Сантандере, Испания, провести летний семинар по «анализу мировых систем». Курс состоял из пяти лекций. Участниками были в основном аспиранты и молодые профессора из испанских университетов, большинство из которых мало знакомы с анализом мировых систем. Их было около сорока человек. Я воспользовался этой возможностью, чтобы представить первый вариант пяти глав этой книги. И я получил большую пользу от полученных отзывов. Я им премного благодарен.

Закончив черновик этой книги, я попросил четырех друзей прочитать и оценить её. Я доверяю их мнению как читателей и экспертов в области преподавания. Но все они в той или иной степени были вовлечены в анализ мировых систем и интересовались им. Поэтому я ожидал широкого спектра реакций, и именно это и произошло. Как это часто бывает в подобных случаях, я благодарен им за то, что они избавили меня от бессмыслицы и непонятных отрывков. Они предложили свои проницательные замечания, которые я учёл. Но, конечно, я упорно придерживался своего мнения о том, какую книгу, по моему мнению, было бы наиболее полезно написать, и читатели заслуживают моих извинений за то, что проигнорировали некоторые из их предложений. Тем не менее, книга стала лучше благодаря внимательному прочтению работ Кая Эриксона, Уолтера Голдфранка, Чарльза Лемерта и Питера Тейлора.

НАЧАЛО: ПОНИМАНИЕ МИРА, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

Средства массовой информации, а также социологи постоянно повторяют, что в мире, в котором мы живем, с последних десятилетий XX века доминируют две вещи: глобализация и терроризм. Обе представляются нам как принципиально новые явления: первая полна надежды, а вторая таит в себе ужасающие опасности. Правительство Соединенных Штатов, кажется, играет центральную роль в продвижении одного явления и борьбе с другим. Но, конечно, эти реалии не только американские, но и глобальные. В основе большей части этого анализа лежит лозунг миссис Тэтчер, премьер-министра Великобритании в 1979-1990 годах: TINA («Нет альтернативы»). Нам говорят, что нет альтернативы глобализации, требованиям которой должны подчиняться все правительства. И нам говорят, что, если мы хотим выжить, нет иной альтернативы, кроме как безжалостно подавить терроризм во всех его формах.

Эта характеристика не совсем неверна, но она крайне неполна. Если мы рассматриваем глобализацию и терроризм как явления, ограниченные определенным временем и местом, мы склонны приходить к выводам столь же мимолетным, как газетные статьи. Как правило, мы не можем понять смысл этих явлений, их происхождение, траекторию развития и, что более важно, их место в более широком контексте. Мы склонны игнорировать их историю. Мы не можем собрать воедино эту головоломку и постоянно удивляемся, когда наши краткосрочные ожидания не оправдываются.

Сколько людей в 1980-х годах ожидали, что Союз Советских Социалистических Республик распадётся так быстро и мирно, как это произошло? И сколько в 2001 году ожидали, что лидер движения, о котором мало кто слышал, — «Аль-Каида», — 11 сентября совершит нападение на башни-близнецы в Нью-Йорке и Пентагон, причинив столь масштабные разрушения? Однако, если посмотреть на ситуацию с определённой точки зрения, оба события являются частью более масштабного сценария, детали которого мы, возможно, не знали заранее, но общие черты которого были более чем предсказуемы.

Частично проблема заключается в том, что мы изучали эти явления в замкнутых, изолированных друг от друга областях, которым дали особые названия — политика, экономика, социальная структура, культура — не осознавая, что эти области были скорее плодом нашего воображения, чем реальностью. Явления, которые мы рассматривали в этих замкнутых областях, были настолько тесно взаимосвязаны, что каждое предполагало другое, каждое влияло на другое, и каждое было непостижимо без учета других областей. Другая часть проблемы состоит в том, что мы склонны упускать из виду в наших аналитических рассуждениях о том, что является «новым», а что нет, три важных поворотных момента современной мировой системы:

1) долгий XVI век, в течение которого наша современная мировая система сформировалась как капиталистическая мировая экономика;

2) Французская революция 1789 года как мировое событие, положившее начало последующему господству в течение двух столетий геокультуры этой мировой системы, культуры, в которой доминировал центристский либерализм, и:

3) мировая революция 1968 года, предвосхитившая длительный заключительный этап современной мировой системы, в которой мы сейчас находимся, и подорвавшая центристскую либеральную геокультуру, которая поддерживала единство мировой системы.

Те из нас, кто предлагает анализ мировых систем, являющийся предметом этой книги, обсуждали глобализацию задолго до того, как этот термин был придуман (однако

не как нечто новое, а как нечто, являвшееся фундаментальным элементом современной мировой системы с момента её зарождения в XVI веке). Мы утверждали, что сегментированный анализ — то, что в университетах называют дисциплинами — является препятствием, а не помощью в понимании мира. Мы утверждали, что социальная реальность, в которой мы живём и которая определяет наш выбор, — это не реальность множества национальных государств, гражданами которых мы являемся, а нечто большее, что мы называли мировой системой. Мы говорили, что эта мировая система включает в себя множество институтов — государства и межгосударственные системы, производственные компании, бренды, классы и группы идентификации всех видов — и что эти институты образуют матрицу, которая позволяет системе функционировать, но в то же время способствует конфликтам и противоречиям, которые её пронизывают. Мы утверждали, что эта система — социальное творение, имеющее свою историю, происхождение, которое необходимо объяснить, существующие механизмы, которые необходимо описать, и о неизбежном терминальном кризисе которого следует предупреждать.

Эта точка зрения бросила вызов не только официальным представлениям власти имущих, но и значительной части общепринятых знаний, выдвинутых социальными учеными за последние два столетия. Поэтому мы утверждаем, что важно по-новому взглянуть не только на то, как функционирует мир, в котором мы живем, но и на то, как мы стали его понимать. Таким образом, аналитики мировых систем видят себя участниками фундаментального протеста против того, как мы, по нашему мнению, понимали мир. Но мы также считаем, что появление этого метода анализа является отражением, выражением конкретного протеста против глубокого неравенства мировой системы, занимающей политический центр нашего времени.

Я сам посвятил последние тридцать лет изучению и написанию работ по анализу мировых систем. Я использовал его для описания истории и механизмов современной мировой системы. Я использовал его для определения структур знания. Я обсуждал его как метод и точку зрения. Но я никогда прежде не пытался представить в одном месте всю полноту своего понимания анализа мировых систем.

За последние тридцать лет работы, относящиеся к этой категории, стали более распространенными, и их практика распространилась географически. Однако в мире исторических социальных наук она по-прежнему остается точкой зрения меньшинства, противоположной точкой зрения. Я видел, как её хвалили, критиковали, а часто и неверно объясняли и интерпретировали, иногда враждебно настроенные и неосведомленные критики, а иногда и люди, считавшие себя сторонниками или, по крайней мере, сочувствующими. Поэтому я решил объяснить, что, на мой взгляд, является её предпосылками и принципами, чтобы дать целостное представление о перспективе, которая, как утверждается, призывает к созданию целостной исторической социальной науки.

Эта книга адресована одновременно трем аудиториям. Во-первых, она написана для среднестатистического читателя, не обладающего знаниями специалиста. Это может быть студент, только что поступивший в университет, или представитель широкой публики. Во-вторых, она написана для студентов, изучающих исторические социальные науки и заинтересованных в серьезном введении в темы и перспективы, охватываемые разделом «анализ мировых систем». И наконец, она написана для ученого, желающего изучить мою точку зрения в рамках зарождающегося, но процветающего академического сообщества.

Книга начинается с описания того, что многие читатели сочтут тупиком. Первая глава посвящена обсуждению структур знаний современной миросистемы. Это попытка

объяснить исторические истоки данного метода анализа. В главах с 2 по 4 мы обсуждаем конкретные механизмы современной миросистемы. И только в главе 5, последней, мы рассматриваем возможное будущее, с которым мы сталкиваемся, и, следовательно, наши современные реалии. Некоторые читатели предпочтут сразу перейти к главе 5 и сделать её своей главой 1. Если я построил свою аргументацию именно так, то потому, что твердо убежден: чтобы понять анализ миросистем, читателю (даже молодому и неопытному) необходимо «переосмыслить» многое из того, чему его учили с начальной школы, ежедневно подкрепляя это средствами массовой информации. Только посредством прямого столкновения с тем, как мы пришли к такому образу мышления, мы можем начать освобождаться от него и мыслить таким образом, который, я считаю, позволит нам более последовательно и полезно анализировать наши современные дилеммы.

Книги читаются по-разному разными людьми, и я предполагаю, что каждая из трех групп читателей, к которым адресована эта книга, будет читать ее по-своему. Я могу лишь надеяться, что каждая группа, каждый отдельный читатель найдет ее полезной. Это введение в анализ мировых систем. Книга не претендует на всеобъемлющее изложение. Она пытается охватить весь спектр тем, но, несомненно, некоторые читатели обнаружат, что некоторые элементы отсутствуют, другие чрезмерно подчеркнуты, и, конечно же, некоторые из моих аргументов просто неверны. Книга представлена как введение в образ мышления и, следовательно, является также приглашением к открытой дискуссии, в которой, я надеюсь, примут участие все три аудитории.

1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА: ОТ ДИСЦИПЛИН СОЦИАЛЬНЫХ НАУК К ИСТОРИЧЕСКИМ СОЦИАЛЬНЫМ НАУКАМ

Системный анализ мира возник в начале 1970-х годов как новый взгляд на социальную реальность. Некоторые из его концепций использовались уже давно, в то время как другие были новыми или, по крайней мере, еще не имели названия. Концепции можно понять только в контексте своего времени. Это еще более верно для перспектив, концепции которых приобретают смысл в первую очередь во взаимосвязи друг с другом, в зависимости от того, как они все объединяются в единый подход. Более того, новые перспективы, как правило, лучше всего понимать, рассматривая их как протест против предыдущих. Они последовательно утверждают, что старые перспективы, которые пользовались большей популярностью в свое время, значительно неадекватны, ошибочны или предвзяты и становятся скорее препятствием для понимания социальной реальности, чем инструментом для ее анализа.

Как и любая другая точка зрения, анализ мировых систем основывается на предыдущих аргументах и критике. В некотором смысле, практически ни одна точка зрения не может быть совершенно новой. Обычно кто-то уже говорил нечто подобное десятилетия или даже столетия назад. Поэтому, когда мы говорим, что какая-то точка зрения нова, это может просто означать, что мир впервые готов серьезно рассмотреть идеи, которые она воплощает, и что, более того, эти идеи, возможно, были переформулированы таким образом, что стали более убедительными и доступными для более широкой аудитории.

История возникновения анализа мировых систем тесно переплетена с историей современной мировой системы и структур знаний, которые развивались в её рамках. Особенно полезно проследить истоки этой истории не до 1970-х годов, а до середины XVIII века. Капиталистическая мировая экономика существовала уже два столетия. Императив неустанного накопления капитала породил потребность в постоянных технологических изменениях и постоянном расширении границ (географических, психологических, интеллектуальных и научных).

Следовательно, возникла необходимость понять, как мы познаём, и обсудить, как нам следует познавать. В современной мировой системе давно оспаривалось давнее утверждение о том, что религиозные авторитеты являются единственным источником истины. Светские — то есть нерелигиозные — альтернативы получали всё большее признание. Философы взялись за эту задачу, утверждая, что люди могут приобретать знания посредством своего интеллекта, а не получая откровение истины от религиозных авторитетов или текстов. Философы, такие как Декарт и Спиноза, несмотря на свои различия, стремились отвести теологическое знание в частную сферу, отделённую от основных структур знания.

В то время как философы оспаривали догматы теологов, утверждая, что человек может постичь истину непосредственно, используя свои рациональные способности, всё большее число интеллектуалов соглашались с ролью теологов, но также утверждали, что так называемая философская интуиция является столь же произвольным источником истины, как и божественное откровение. Эти интеллектуалы настаивали на приоритете эмпирического анализа реальности. Когда Лаплас в начале XIX века написал книгу о происхождении Солнечной системы, Наполеон, которому он подарил книгу, указал, что в своём объёмном труде он ни разу не упомянул Бога. Лаплас ответил: «Мне не нужна такая гипотеза, господин». Этих интеллектуалов отныне стали называть учёными. Однако следует помнить, что, по крайней мере до конца XVIII века, не существовало чёткого

различия между наукой и философией в определении знания. В те времена Иммануил Кант считал вполне приемлемым читать лекции по астрономии и поэзии, а также по метафизике. Он также написал трактат о взаимоотношениях между государствами. Знание по-прежнему считалось единой областью.

Примерно в конце XVIII века произошёл так называемый «развод» между философией и наукой. Этот развод был вызван настойчивыми требованиями защитников эмпирических «наук». Они утверждали, что единственный путь к «истине» — это теория, основанная на индукции из эмпирических наблюдений, и что эти наблюдения должны быть сделаны таким образом, чтобы другие могли впоследствии повторить их и тем самым проверить. Они считали, что метафизические выводы носят спекулятивный характер и не имеют «истинной» ценности. Поэтому они отказывались считать себя «философами».

Именно в этот период, и во многом в результате этого раскола, зародился современный университет. Построенный на фундаменте средневекового университета, современный университет представляет собой совершенно иную структуру. В отличие от средневекового университета, в нем работают штатные профессора, которые почти никогда не являются священнослужителями и объединены не только в «факультеты», но и в «отделения» или «кафедры» внутри этих факультетов. Каждое отделение претендует на принадлежность к определенной «дисциплине». А студенты изучают учебные программы, которые, в свою очередь, приводят к получению степеней, определяемых кафедрой, в рамках которой они обучались.

Средневековый университет был разделён на четыре факультета: теологический, медицинский, юридический и философский. В XIX веке почти повсеместно философский факультет разделился как минимум на два независимых факультета: один охватывал «науки», а другой — все остальные предметы, иногда называемые «гуманитарными науками», «искусствами» или «философией» (или и тем, и другим), или просто сохранившие старое название «философия». Таким образом, университет институционализировал то, что К. П. Сноу позже назовёт «двумя культурами». И эти две культуры воевали друг с другом, каждая претендуя на то, чтобы быть единственным или, по крайней мере, лучшим источником знаний. Науки делали акцент на эмпирических (даже экспериментальных) исследованиях и проверке гипотез. Гуманитарные науки делали акцент на интуиции через эмпатию, позже названную герменевтическим пониманием. Единственное наследие утраченного единства, которое мы сохранили сегодня, — это то, что все факультеты искусств и наук в университете предлагают степень доктора философии (PhD) в качестве высшей степени.

Науки отрицали способность гуманитарных наук различать истину. В предыдущий период единого знания поиск истины, добра и красоты были неразрывно связаны, если не идентичны. Но теперь ученые настаивали на том, что их работа не имеет ничего общего с поиском добра или красоты, а просто с истиной. Поиск добра и красоты они оставили философам. И многие из философов приняли это разделение труда. Таким образом, разделение знаний на две культуры привело к созданию высокой разделительной стены между поиском истины и поиском добра и красоты. Это оправдывало утверждение о нейтральности ученых по отношению к «ценностям».

В XIX веке научные факультеты были разделены на множество дисциплин: физика, химия, геология, астрономия, зоология, математика и другие. Гуманитарные факультеты были разделены на такие области, как философия, классические исследования (то есть греческий, латинский языки и античная литература), история искусств, музыковедение, национальные языки и литература, а также языки и литература других языковых регионов.

Наиболее сложным вопросом было, в рамках какого факультета следует проводить изучение социальной реальности. Необходимость такого исследования была подчеркнута Французской революцией 1789 года и культурными потрясениями, которые она вызвала в современной мировой системе. Французская революция распространила две довольно революционные идеи. Первая заключалась в том, что политические изменения не являются чем-то исключительным или экстраординарным, а скорее чем-то нормальным и, следовательно, постоянным. Вторая заключалась в том, что «суверенитет» — право государства принимать автономные решения на своей территории — принадлежит не монарху или законодательному органу, а «народу», который сам по себе может легитимизировать режим.

Обе идеи получили популярность и были широко распространены, несмотря на политические неудачи, постигшие саму Французскую революцию. Если политические перемены теперь считались нормой, а суверенитет принадлежал народу, то стало насущной необходимостью понять, что такое перемены, что объясняет их природу и темпы, и как «народ» приходил или мог прийти к решениям, которые, как утверждалось, он принимал. Это социальное происхождение того, что позже стало известно как социальные науки.

Но что же представляли собой «социальные науки», и как они позиционировали себя в этой новой войне между «двумя культурами»? На эти вопросы нелегко ответить. Фактически, можно утверждать, что этот вопрос так и не получил удовлетворительного ответа. В принципе, можно увидеть, что социальные науки, как правило, занимали промежуточное положение между «чистыми науками» и «гуманитарными науками». Посередине, но не в комфортных условиях. Социальные ученые не развивались независимо по третьему пути познания; скорее, они были разделены на тех, кто больше склонялся к «научному взгляду» на социальные науки, и тех, кто больше склонялся к «гуманистической» концепции. Социальные науки, казалось, были запряжены двумя лошадьми, тянувшимися в противоположных направлениях и разрывающими их на части.

Несомненно, древнейшей из социальных наук является история — деятельность и дисциплина, насчитывающая тысячи лет. В XIX веке произошла «революция» в историографии, связанная с именем Леопольда Ранке, который выдвинул лозунг о том, что историю следует писать *wie es eigentlich gewesen ist* (как это происходило на самом деле). Он выступал против практики историков, посвященных агиографии, повествованию историй, прославляющих монархов или нации, включая вымышленные истории. Ранке предложил более научную историю, отвергающую спекуляции и басни.

Ранке также предложил конкретный метод написания такой истории: поиск описаний событий в документах того же периода, в котором они происходили. Эти документы в конечном итоге хранились бы в так называемых архивах. Изучая эти архивные документы, новые историки исходили из предположения, что деятели прошлого писали не для будущих историков, а для того, чтобы раскрыть свои истинные мысли того времени, или, по крайней мере, то, во что они хотели, чтобы другие поверили. Историки охотно соглашались с тем, что эти документы следует тщательно изучать, чтобы исключить любые фальсификации, но, будучи проверенными, они считали, что эти документы в целом должны считаться свободными от любого предвзятого вмешательства со стороны более поздних историков. Чтобы еще больше свести к минимуму любую предвзятость, историки утверждали, что можно писать только историю «прошлого», а не «настоящего», поскольку написание о настоящем неизбежно будет находиться под влиянием сиюминутных страстей. В любом случае, архивы (контролируемые политическими властями) редко «открывались» для историков до тех пор, пока не проходил длительный период (от пятидесяти до ста лет), поэтому у них

обычно не было никакого доступа к соответствующим документам настоящего. (В конце двадцатого века многие правительства под давлением оппозиционных политиков были вынуждены ускорить открытие своих архивов. Хотя это открытие и принесло определенные результаты, похоже, что правительства нашли новые способы сохранить свои секреты).

Однако, несмотря на этот более «научный» профиль, новые историки предпочли работать не на факультете естественных наук, а в гуманитарных дисциплинах. Это может показаться странным, поскольку эти историки отвергали философов за их спекулятивные утверждения. Более того, они были эмпириками, и поэтому можно было бы ожидать от них естественной склонности к науке. Но они были эмпириками, которые в целом с подозрением относились к масштабным обобщениям. Их не интересовали научные законы или даже формулирование гипотез, и они часто настаивали на том, что каждое конкретное «событие» должно анализироваться в свете его собственной истории. Они утверждали, что социальная жизнь людей отличается от физических явлений, анализируемых чистыми учеными, из-за влияния человеческой воли, и этот акцент на том, что мы сейчас назвали бы человеческой деятельностью, привел их к тому, что они стали считать себя «гуманистами», а не «учеными».

Но какие события заслуживали их внимания? Историкам приходилось выбирать, что изучать. Их опора на документы, написанные в прошлом, уже сама по себе демонстрировала определенную предвзятость в отношении того, что они могли изучать, поскольку эти архивные документы были написаны людьми, связанными с политическими структурами (дипломатами, бюрократами, политическими лидерами). Эти документы очень мало рассказывали о явлениях, не отмеченных политическими или дипломатическими событиями. Более того, такой подход предполагал, что историки сосредотачиваются на области исследования, для которой уже существовали письменные документы. На практике историки XIX века, следовательно, склонны были изучать в первую очередь свою страну и, во вторую очередь, другие страны, считавшиеся «историческими нациями», что, по-видимому, означало нации с историей, которую можно было задокументировать в архивах.

Но в каких странах находились такие историки? Подавляющее большинство (вероятно, 95%) было сосредоточено всего в пяти регионах: Франции, Великобритании, Соединенных Штатах и различных частях территорий, которые впоследствии стали Германией и Италией. Поэтому первоначально история этих пяти стран в основном и писалась, и преподавалась. Возник также другой вопрос: что должна включать история такой страны, как Франция или Германия? Каковы были её границы, как географические, так и временные? Большинство историков решили расширить их как можно дальше в прошлое, используя современные территориальные границы или даже те, которые были заявлены в то время. Таким образом, история Франции стала историей всего, что происходило на территориях Франции, как они определялись в XIX веке. Это, безусловно, было несколько произвольно, но служило определенной цели: укрепить современные националистические настроения. Поэтому эта практика поощрялась самими государствами.

Однако, учитывая практику историков ограничиваться изучением прошлого, они мало что могли сказать о современной ситуации в своих странах. А политические лидеры чувствовали необходимость получить больше информации о настоящем. Для этой цели возникли новые дисциплины. В основном их было три: экономика, политология и социология. Почему же тогда существовало три дисциплины для изучения настоящего, но только одна для изучения прошлого? Потому что господствующая либеральная идеология XIX века утверждала, что современность определяется дифференциацией трех

социальных сфер: рынка, государства и гражданского общества. Утверждалось, что эти три сферы функционируют по разным логикам, и поэтому лучше всего держать их отдельно, как в социальной жизни, так и в интеллектуальной. Их необходимо изучать по-разному, в соответствии с особенностями каждой сферы: рынок — экономистами, государство — политологами, а гражданское общество — социологами.

Вновь возник вопрос: как получить доступ к «объективному» знанию об этих трех сферах? Здесь ответ отличался от ответа историков. В каждой дисциплине господствовала точка зрения, согласно которой сферы жизни — рынок, государство и гражданское общество — подчиняются законам, выявляемым посредством эмпирического анализа и индуктивного обобщения. Точно такую же позицию занимали ученые-теоретики в отношении своих объектов исследования. По этой причине мы называем эти три дисциплины номотетическими (то есть дисциплинами, ищущими научные законы) в противоположность идиографической дисциплине, к которой стремится история (то есть дисциплине, основанной на уникальности социального явления).

Вновь возникает вопрос: где следует сосредоточить изучение современных явлений? Номотетические социологи находились в тех же пяти странах, что и историки, и, подобно им, они посвятили себя в основном изучению своих стран (или, в лучшем случае, сравнению этих пяти стран). Это, несомненно, являлось источником социальной легитимности, но номотетические социологи также представили методологический аргумент в оправдание своего выбора. Они утверждали, что лучший способ избежать предвзятости — использовать количественные данные, и что такие данные с большей вероятностью можно найти в их собственных странах в настоящее время. Более того, они утверждали, что, учитывая общепринятое существование общих законов, регулирующих социальное поведение, место, где изучаются явления, не имеет значения, поскольку то, что справедливо в конкретном месте и в конкретное время, должно быть справедливо везде и всегда. Почему бы тогда не изучать явления, для которых доступны наиболее надежные данные — то есть, наиболее количественно измеримые и сбор которых можно воспроизвести?

Социальные ученые столкнулись с другой проблемой. Четыре дисциплины в целом — история, экономика, социология и политология — изучали лишь небольшую часть мира. Но в XIX веке эти пять стран установили колониальное господство над многими другими регионами и даже поддерживали торговые, а иногда и военные отношения с другими. Необходимо было изучать и остальной мир. Однако остальной мир, казалось, несколько отличался, что делало использование этих четырех западных дисциплин недостаточным для изучения тех частей мира, которые не считались «современными». В результате возникли две дополнительные дисциплины.

Одной из таких дисциплин была антропология. Первые антропологи изучали народы, находившиеся под реальным или виртуальным колониальным господством. Они исходили из предпосылки, что изучаемые ими группы не обладали современными технологиями, собственной письменностью и религиями, выходящими за рамки их собственной группы. Их в целом называли «племенами»: относительно небольшими группами (по численности населения и занимаемой территории), которые соблюдали общий набор обычаев, говорили на общем языке и в некоторых случаях признавали общую политическую структуру. На языке XIX века их считали «примитивными» народами.

Существенным условием для изучения этих народов было то, что они находились под политической юрисдикцией современного государства, что гарантировало порядок и безопасный доступ антрополога. Поскольку эти народы были культурно очень далеки

от изучаемых ими, основным методом исследования было «включенное наблюдение»: исследователь жил среди населения в течение определенного периода, чтобы изучить их язык и понять их обычаи и традиции. Часто они использовали местных посредников в качестве переводчиков, как лингвистических, так и культурных. Этот процесс назывался «написанием этнографии» и основывался на «полевых исследованиях» (в отличие от библиографических или архивных исследований).

Считалось, что у этих народов отсутствует «история», за исключением той, которая возникла в результате установления власти «современными» иностранцами, события, понимаемого как «культурный контакт» и, следовательно, как культурный сдвиг. Этот сдвиг подразумевал, что этнограф, как правило, пытался реконструировать обычаи, существовавшие до (относительно недавнего) культурного контакта, исходя из предположения, что эти обычаи существовали с незапамятных времен до установления колониального контроля. Этнографы часто выступали в качестве основных переводчиков этих народов для современных иностранцев, которые ими управляли. Они восстанавливали на языке, понятном этим иностранцам, обоснование местных обычаев. Таким образом, они были полезны колониальным властям, предоставляя информацию, которая позволяла правителям лучше понимать, что они могут или не могут (или не должны) делать в своей администрации.

Однако мир состоял не только из «современных» государств и так называемых примитивных народов. Обширные регионы за пределами панъевропейской сферы считались тем, что в XIX веке называли «высокими цивилизациями», такими как Китай, Индия, Персия и арабский мир. Все эти территории обладали определенными общими характеристиками: письменностью, доминирующим языком, используемым в этой письменности, и единой доминирующей «мировой» религией, которая, однако, не была христианством. Причина этих общих характеристик, конечно же, была довольно проста. Все эти территории были, а некоторые и до сих пор остаются, местами расположения бюрократических «мировых империй», которые занимали обширные территории и, следовательно, развили общий язык, общую религию и множество общих обычаев. Именно это и подразумевалось под названием «высокие цивилизации».

В XIX веке все эти регионы объединяла еще одна общая черта. Они уже не обладали таким военным и технологическим превосходством, как общеевропейский мир. Следовательно, общеевропейский мир не считал их «современными». Тем не менее, их жители явно не соответствовали описанию «первобытного» человека, даже по общеевропейским меркам. Тогда встал вопрос, как их изучать и что именно следует изучать. Поскольку они культурно так сильно отличаются от европейцев, так как у них существовали тексты, написанные на языках, столь отличных от языков европейских ученых, и поскольку их религии так сильно отличаются от христианства, казалось, что тем, кто собирался их изучать, потребуется длительная и терпеливая подготовка в эзотерических навыках, если они надеялись понять их глубоко. Филологические способности были особенно полезны при расшифровке древних религиозных текстов. Те, кто приобрел такую подготовку, стали называть себя ориенталистами — название, происходящее от классического различия между Востоком и Западом, которое долгое время существовало в европейской интеллектуальной традиции.

Что же изучали востоковеды? В некотором смысле можно сказать, что они также занимались этнографией; то есть стремились описать всю совокупность обнаруженных ими обычаев. Но в значительной степени это были не этнографические исследования, основанные на полевых работах, а скорее исследования, основанные на чтении текстов. Вопрос, который они постоянно обдумывали, заключался в том, как объяснить, почему эти «высокие цивилизации» не были «современными», как общеевропейский мир. Ответ,

который, по-видимому, нашли востоковеды, заключался в том, что некий культурный компонент этих цивилизаций «остановил» их историю, препятствуя их продвижению к современности, как это сделали западный и христианский миры. Следовательно, этим странам потребуется помощь общеевропейского мира для продвижения к современности.

Этнографы, изучающие первобытные народы, и востоковеды, изучающие развитые цивилизации, разделяли эпистемологическое предположение. Оба подхода подчеркивали специфику изучаемой группы, а не анализ универсальных человеческих характеристик. Поэтому они, как правило, чувствовали себя более комфортно на идиографической стороне дискуссии, чем на номотетической. В большинстве своем они считали себя частью гуманистической и герменевтической области в разделении двух культур, а не научной.

В XIX веке произошло расширение и воспроизведение, в большей или меньшей степени, описанных здесь ведомственных структур и должностей в университетах. Формировались структуры знаний, и университеты предоставляли им место для хранения. Более того, ученые в каждой дисциплине начали создавать внеуниверситетские организационные структуры для укрепления своих групп. Они создавали издательства для каждой дисциплины. Они даже разработали библиографические категории для группировки книг, которые, как предполагалось, принадлежали к их областям знаний. Эти структуры продолжали расширяться и сохраняться по меньшей мере до 1945 года, а во многих отношениях даже до 1960-х годов.

Однако в 1945 году мир кардинально изменился, и в результате сложившаяся структура социальных наук столкнулась со значительными проблемами. В этот период произошло три события. Во-первых, Соединенные Штаты стали бесспорной гегемонистской державой мировой системы, и, следовательно, их университетская система стала наиболее влиятельной. Во-вторых, страны того, что тогда называлось Третьим миром, стали ареной политических конфликтов и геополитического самоутверждения. Наконец, сочетание расширяющейся мировой экономики с сильным ростом демократизирующих тенденций привело к невероятному расширению глобальной университетской системы (с точки зрения профессоров, студентов и количества университетов). Эти три изменения в совокупности перевернули четко определенные структуры знаний, которые развивались и укреплялись в течение предыдущих ста или ста пятидесяти лет.

Рассмотрим сначала влияние американской гегемонии и самоутверждения стран третьего мира. Одновременное их возникновение ясно показало, что разделение труда в социальных науках — история, экономика, социология и политология для изучения Запада; антропология и ориентализм для всего остального — было совершенно бесполезно для тех, кто должен был разрабатывать политику США. Соединенным Штатам были гораздо более насущны потребности в ученых, способных анализировать подъем Коммунистической партии Китая, чем в ученых, способных расшифровывать даосские тексты; в ученых, способных интерпретировать силу африканских националистических движений или концентрацию рабочей силы в городах, чем в тех, кто мог объяснить структуру семейных отношений среди народов банту. Ни ориенталисты, ни этнографы в этом отношении мало чем могли помочь.

Решение нашлось: нужно было обучить историков, экономистов, социологов и политологов изучать то, что происходит в других частях света. Так зародилось американское изобретение — «региональные исследования», — оказавшее огромное влияние на университетскую систему страны (а впоследствии и на весь остальной мир). Но как можно было согласовать то, что по своей сути казалось относительно

«идиографическим» — изучение географической или культурной «области» — с номотетическими претензиями экономистов, социологов, политологов, а теперь даже и некоторых историков? Тогда возникло остроумное интеллектуальное решение этой дилеммы: концепция «развития».

Понятие развития, как этот термин стал использоваться после 1945 года, основывалось на знакомом объяснительном механизме: теории стадий. Те, кто использовал эту концепцию, предполагали, что отдельные единицы — «национальные общества» — развиваются в основном одинаково (тем самым удовлетворяя номотетическую потребность), но с разной скоростью (признавая различия, которые, как казалось, представляли собой государства). Вот и всё! Затем стало возможным ввести специфические концепции для изучения настоящего «других», утверждая, что рано или поздно все государства в конечном итоге станут более или менее одинаковыми. Эта иллюзия, в свою очередь, имела практическую сторону. Она подразумевала, что «наиболее развитое» государство может быть предложено в качестве модели для «менее развитых» государств, побуждая последние к своего рода миметическим действиям, которые обещали им лучшее качество жизни и более либеральную структуру управления («политическое развитие») в конце пути.

Очевидно, это был полезный интеллектуальный инструмент для Соединенных Штатов, и их правительство и институты делали все возможное, чтобы способствовать расширению регионоведения в крупных (и даже небольших) университетах. Конечно, в то время между Соединенными Штатами и Советским Союзом шла холодная война. Советский Союз умел распознавать что-то хорошее. И он тоже перенял концепцию стадий развития. Конечно, советские ученые изменили терминологию по риторическим причинам, но основная модель осталась той же. Однако они внесли существенное изменение: в советской версии в качестве образцового государства использовался Советский Союз, а не Соединенные Штаты.

Теперь давайте рассмотрим, что происходит, когда мы изучаем влияние регионоведения в сочетании с расширением университетской системы. Это расширение означало увеличение числа людей, стремящихся получить докторскую степень. Это кажется хорошим явлением, но вспомним требование, чтобы докторские диссертации представляли собой «оригинальный» вклад в науку. Каждый человек, вовлеченный в исследовательский процесс, усложнял поиск оригинальности. И эта сложность способствовала академическому вторжению, поскольку оригинальность определяется параметрами, присущими каждой дисциплине. Представители разных дисциплин начали формировать узкие специализации в областях, ранее принадлежавших другим дисциплинам. Это привело к значительному пересечению и размыванию строгих междисциплинарных границ. Теперь существовали политические социологи, социальные историки и всевозможные другие комбинации.

Изменения в реальном мире повлияли на самоопределение ученых. Дисциплины, ранее специализировавшиеся на незападном мире, стали вызывать все большее политическое подозрение со стороны тех самых стран, которые они традиционно изучали. В результате термин «ориентализм» постепенно исчез, а его прежние представители стали историками. Антропология была вынуждена радикально переосмыслить свою перспективу, поскольку исчезали как само понятие «примитивного», так и реальность, которую оно, как предполагалось, отражало. В некотором смысле антропологи «вернулись домой» и начали изучать свои страны происхождения. Что касается четырех оставшихся дисциплин, то впервые в них появились специалисты по регионам мира, которые ранее не рассматривались в их

учебных программах. Различие между современными и несовременными регионами размылось.

Всё это, с одной стороны, привело к усилению неопределённости в отношении традиционных истин (то, что когда-то называлось «путаницей» внутри дисциплин), а с другой — проложило путь к еретическому осмыслению некоторых из этих истин, особенно со стороны растущей группы учёных из незападного мира или тех, кто входил в число западных учёных, получивших образование в рамках уже сложившейся системы региональных исследований. В период с 1945 по 1970 год четыре дискуссии подготовили почву для появления анализа мировых систем: концепция «центр-периферия», разработанная Экономической комиссией ООН для Латинской Америки (ЭКЛАК), и последующая разработка «теории зависимости»; полезность марксистской концепции «азиатского способа производства», дискуссия среди учёных-коммунистов; обсуждение среди западноевропейских историков «перехода от феодализма к капитализму»; дискуссия о «тотальной истории» и триумф школы историографии «Анналов» во Франции и в различных частях мира впоследствии. Ни одна из этих дискуссий не была совершенно новой, но в этот период они вышли на первый план, бросив огромный вызов социальным наукам в том виде, в каком они развивались до 1945 года.

Дихотомия «центр-периферия» стала решающим вкладом ученых из стран третьего мира. Правда, некоторые немецкие географы предлагали нечто подобное еще в 1920 году, как и группа румынских социологов в 1930-х годах (кстати, в то время социальная структура Румынии была весьма схожа со структурой стран третьего мира). Однако только в 1950-х годах, благодаря работе Рауля Пребиша и его латиноамериканских «младотурок» в ЭКЛАК, эта тема стала актуальной в академическом дискурсе социальных наук. Отправная точка была очень проста. Они утверждали, что международная торговля не представляет собой обмен между равными. Некоторые страны были экономически более могущественны, чем другие (страны в центре), и поэтому могли вести переговоры на условиях, благоприятствующих перераспределению прибавочной стоимости от более слабых стран (периферии) к центру. Позже кто-то назовет это «неравным обменом». Анализ предложил решение проблемы неравенства: периферийные государства должны принять меры по созданию механизмов, которые бы уравнивали обмен в среднесрочной перспективе.

Конечно, такая простая идея упускала из виду множество деталей, что породило жаркие дебаты. Дискуссия развернулась между её сторонниками и теми, кто придерживался более традиционного взгляда на международную торговлю, в основе которого лежит идея Давида Рикардо XIX века, согласно которой каждый следует своему «сравнительному преимуществу», и каждый получает наибольшую выгоду. Но внутренние дискуссии возникли и внутри группы сторонников модели «центр-периферия». Как она работает? Кто действительно выигрывает от неравного обмена? Какие меры могли бы быть эффективными в противодействии ему? И в какой степени такие меры требуют больше политических действий, чем экономического регулирования?

Именно на этом последнем пункте теории «зависимости» разработали свои пересмотренные версии анализа «центр-периферия». Некоторые утверждали, что политическая революция является необходимым условием для любых регулирующих действий. Теория зависимости, как она развивалась в Латинской Америке, на первый взгляд представлялась в первую очередь критикой экономической политики, проводимой и пропагандируемой западными державами (особенно Соединенными Штатами). Андре Гундер Франк ввел термин «развитие недоразвития» для описания результатов политики крупных корпораций и государств в центральных регионах, а

также межгосударственных субъектов, продвигающих «свободную торговлю» в мировой экономике. Недоразвитие рассматривалось не как неотъемлемое состояние, ответственность за которое лежит на самих недоразвитых странах, а скорее как следствие исторического капитализма.

Однако теории зависимости также, возможно, более существенно, подвергли критике латиноамериканские коммунистические партии. Эти партии поддерживали теорию стадий развития, согласно которой латиноамериканские страны все еще оставались феодальными или «полуфеодальными», и, следовательно, «буржуазная революция», которая должна была предшествовать «пролетарской революции», еще не произошла. Из этого они сделали вывод, что латиноамериканские активисты должны сотрудничать с так называемой прогрессивной буржуазией для осуществления буржуазной революции, чтобы страна могла затем продвинуться к социализму. Теоретики зависимости, как и многие, вдохновленные Кубинской революцией, утверждали, что официальная линия коммунизма является лишь вариантом линии правительства Соединенных Штатов (построение, в принципе, либеральных буржуазных государств и среднего класса). Теоретики зависимости теоретически опровергали эту линию коммунистических партий, утверждая, что латиноамериканские страны уже являются частью капиталистической системы, и поэтому сейчас им нужна социалистическая революция.

Тем временем в Советском Союзе, коммунистических странах Восточной Европы, а также во французской и итальянской коммунистических партиях начиналась дискуссия об «азиатском способе производства». Описывая последовательность этапов развития экономических структур, через которые прошло человечество, Маркс добавил категорию, которую ему было трудно вписать в описанную им линейную последовательность. Он назвал её «азиатским способом производства», используя этот термин для описания обширных, бюрократических, самодержавных империй, которые развивались на протяжении истории, по крайней мере, в Китае и Индии. Это были именно те «высокие цивилизации» востоковедов, чьи тексты Маркс читал.

В 1930-х годах Сталин решил, что ему не нравится это понятие. По-видимому, он считал, что его можно использовать для описания как российской истории, так и режима, которым он руководил. Он предпринял пересмотр трудов Маркса, который фактически исключил это понятие из всех легитимных дискуссий. Это упущение создало многочисленные трудности для советских ученых (а также для коммунистов в других странах). Им приходилось растягивать свои аргументы, чтобы вписать различные периоды российской и азиатской истории во все еще легитимные категории «рабства» и «феодализма». Но никто не осмеливался противоречить Иосифу Сталину.

После смерти Сталина в 1953 году многие ученые воспользовались возможностью возобновить дискуссию, предположив, что в первоначальной идее Маркса может быть что-то интересное. Однако это означало повторное рассмотрение вопроса о ряде обязательных стадий развития и, следовательно, о развитии как аналитической и политической модели. Это вынудило этих интеллектуалов вступить в диалог с немарксистскими социальными науками со всего мира. По сути, эта дискуссия была академическим эквивалентом речи Хрущева на XX съезде партии в 1956 году, в которой Хрущев, тогдашний генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), осудил «культ личности», окружавший Сталина, и признал «ошибки» до этого бесспорной политики. Как и речь Хрущева, дискуссия об азиатском способе производства принесла с собой сомнения и, как следствие, разрушение жесткого концептуального наследия ортодоксального марксизма. Это позволило по-новому взглянуть на категории анализа XIX века, даже на те, которые использовал сам Маркс.

Одновременно с этим среди западных историков экономики разгорелась дискуссия о происхождении современного капитализма. Большинство участников считали себя марксистами, но были свободны от каких-либо партийных ограничений. Дискуссия началась с публикации работы Мориса Добба «Исследования развития капитализма» в 1946 году. Добб был английским историком-марксистом, специализирующимся на экономической теории. Пол Свизи, американский экономист-марксист, написал статью, оспаривающую предложенное Доббом объяснение того, что они оба называли «переходом от феодализма к капитализму». Вскоре к дискуссии присоединилось множество других участников.

Для тех, кто принял предложение Добба, проблема представлялась борьбой между эндогенными и экзогенными объяснениями. Добб находил корни перехода от феодализма к капитализму во внутренних элементах государств, в частности, в Англии. Суизи обвинялся Доббом и его сторонниками в том, что они отдавали предпочтение внешним факторам, особенно торговым потокам, игнорируя фундаментальную роль изменений в производственной структуре и, следовательно, в классовых отношениях. Суизи и его последователи рассматривали Англию как часть более широкого региона Средиземноморья, трансформации которого объясняли произошедшее в Англии. Суизи использовал эмпирические данные из работ Анри Пиренна (бельгийского историка-немарксиста, предшественника школы историографии «Анналов», известного своим объяснением того, как подъем ислама привел к нарушению торговых путей с Западной Европой и ее экономической стагнации). Сторонники Добба утверждали, что Свизи переоценил важность торговли (рассматриваемой как внешняя переменная), игнорируя решающую роль производственных отношений (рассматриваемых как внутренняя переменная).

Дискуссия была важна по нескольким причинам. Во-первых, она, по-видимому, имела политические последствия (например, аргументы теоретиков зависимости). Выводы о механизмах перехода от феодализма к капитализму могли бы иметь отношение к потенциальному переходу от капитализма к социализму (как, собственно, прямо указывали некоторые из участников). Во-вторых, дискуссия заставила многих экономистов с образованием более внимательно изучить исторические данные, открыв им доступ к некоторым аргументам, которые начала выдвигать французская группа «Анналов». В-третьих, по сути, это была дискуссия об единице анализа, хотя такая терминология так и не была использована. Группа Свизи поставила под сомнение целесообразность использования страны, спроецированной назад во времени, в качестве единицы, в рамках которой следует анализировать социальные действия, а не какой-либо более крупной единицы, в рамках которой существовало разделение труда (как это было в случае с европейско-средиземноморским регионом). В-четвертых, подобно дискуссии об азиатском способе производства, это привело к разрушению оболочки той версии марксизма (которая анализировала только производственные отношения и только в рамках национальных государств), которая превратилась из академического предложения, открытого для обсуждения, в идеологию.

Практически все участники этой дискуссии были англоговорящими учёными. В отличие от них, школа «Анналов» зародилась во Франции и долгое время находила отклик только в тех областях интеллектуального мира, где французское культурное влияние было наиболее сильным: Италия, Испания, Латинская Америка, Турция и некоторые части Восточной Европы. Школа «Анналов» возникла в 1920-х годах как протест, возглавляемый Люсьеном Февром и Марком Блохом, против крайне идиографического и эмпирического подхода, доминировавшего во французской историографии, которая почти исключительно фокусировалась на политической

истории. Школа «Анналов» выдвинула несколько контрдоктрин: историография должна быть «тотальной», то есть она должна представлять собой целостную картину исторического развития во всех социальных сферах.

Школа «Анналов» выдвинула несколько противоположных доктрин: историография должна быть «тотальной», то есть должна фокусироваться на комплексном взгляде на историческое развитие во всех социальных сферах. Фактически, экономические и социальные основы этого развития считались более важными, чем политическая сфера, и, более того, их можно было изучать систематически, а не всегда исключительно в архивах. Кроме того, долгосрочные обобщения исторических явлений были не только возможны, но и желательны.

В межвоенные годы влияние школы «Анналов» было минимальным. Внезапно, после 1945 года, она расцвела, и под руководством своего лидера второго поколения, Фернана Броделя, стала доминировать сначала на французской историографической сцене, а затем и во многих других частях мира. Впервые она начала проникать в англоязычный мир. Институционально группа «Анналов» возглавила новое университетское учреждение в Париже, основанное на предпосылке, что историки должны учиться и интегрировать свои открытия из других, традиционно более номотетических, социальных наук, и что эти науки, в свою очередь, должны стать более «историческими» в своей работе. Эпоха Броделя представляла собой как интеллектуальную, так и институциональную атаку на традиционную изоляцию социальных наук друг от друга.

Бродель отстаивал язык социального времени, который оставил бы свой след в будущих исследованиях. Он критиковал «историю, основанную на событиях», называя традиционную историографическую, эмпирическую и политическую историографию «пылью». Это была пыль в двойном смысле: потому что она имела дело с эфемерными явлениями и потому что она попадала в глаза, мешая увидеть истинные лежащие в её основе структуры. Но Бродель также критиковал поиск вневременных и вечных истин, считая чисто номотетическую работу многих социальных ученых мифической. Между этими двумя крайностями он настаивал на существовании двух других социальных времен, которые обе культуры забыли: структурного времени (или долгосрочного, но не вечного времени — основных структур, лежащих в основе исторических систем) и циклических процессов внутри структур (или среднесрочных тенденций, таких как расширение и сокращение мировой экономики). Бродель также подчеркивал тему единства анализа. В своей первой крупной работе он настаивал на том, что изучаемое им Средиземноморье XVI века представляло собой «мировую экономику», и сделал историю этой мировой экономики объектом своего исследования.

Эти четыре дискуссии проходили, по сути, между 1950 и 1960 годами. Они происходили в основном независимо друг от друга, без взаимных отсылок и часто без осознания друг друга. Тем не менее, в совокупности они представляли собой центральную критику существующей структуры. За этим интеллектуальным потрясением последовал культурный шок революций 1968 года. И эти события объединили разрозненные части. Мировая революция 1968 года была в первую очередь связана с рядом центральных политических вопросов: гегемонией Соединенных Штатов и их внешней политикой, которая привела к войне во Вьетнаме; относительно пассивной позицией Советского Союза, который революционеры 1968 года рассматривали как находящийся в «сговоре» с Соединенными Штатами; и неэффективностью традиционных движений «старых левых» в противостоянии существующему положению вещей. Мы обсудим эти вопросы позже.

Однако в процессе этого восстания революционеры 1968 года, чья самая сильная база находилась в университетах по всему миру, также начали поднимать ряд вопросов, касающихся структур знания. Первоначально они ставили под сомнение прямое политическое участие университетских ученых в работе, поддерживающей глобальный статус-кво, например, физики, проводящие исследования, связанные с войной, и социологи, предоставляющие материалы для борьбы с повстанцами. Затем они подвергли сомнению забытые области знания. В социальных науках это означало игнорирование истории многих угнетенных групп: женщин, «меньшинств», коренного населения и групп с альтернативными сексуальными идентичностями или практиками. Но в конечном итоге они начали поднимать вопросы об эпистемологии, лежащей в основе структур знания.

Именно в этот период, в начале 1970-х годов, люди начали открыто говорить об анализе мировых систем как о перспективе. Анализ мировых систем представлял собой попытку согласованно объединить вопросы, касающиеся единицы анализа, вопросы, касающиеся социальных временных рамок, и вопросы, касающиеся барьеров, которые были возведены между различными социальными науками.

Анализ мировых систем означал, прежде всего, замену стандартной единицы анализа, которой ранее было национальное государство, единицей анализа, называемой «мировой системой». Историки коллективно анализировали национальные истории, экономисты — национальные экономики, политологи — национальные политические структуры, а социологи — национальные общества. Аналитики мировых систем скептически относились к этому, сомневаясь в существовании этих объектов исследования и, если да, то являются ли они наиболее полезными площадками для анализа. Вместо национальных государств в качестве объектов исследования они заменили их «историческими системами», которые, как утверждалось, до этого момента существовали только в трех вариантах: мини-системы и два типа «мировых систем» (мировые экономики и мировые империи).

Обратите внимание на «мировую систему» и её двух подкатегориях: мировые экономики и мировые империи. Здесь речь идёт не о системах, экономиках или империях всего мира, а о системах, экономиках и империях, составляющих мир (но, возможно, и обычно, не занимающих всю планету). Это ключевое начальное понятие для понимания. Оно гласит, что в «мировой системе» мы имеем дело с пространственно-временной зоной, охватывающей множество политических и культурных единиц, представляющей собой интегрированную зону деятельности и институтов, подчиняющихся определённым системным правилам.

Фактически, эта концепция первоначально применялась к «современной мировой системе», которая, как утверждается, принимает форму «мировой экономики». Эта концепция адаптировала использование термина Бродемом в его книге о Средиземноморье и объединила его с анализом «центр-периферия» ЭКЛАК. Утверждалось, что современная мировая экономика — это капиталистическая мировая экономика. Не первая мировая экономика, но первая, которая выжила и процветала так долго, и она достигла этого именно благодаря тому, что стала полностью капиталистической. Если область, рассматриваемая как капиталистическая, понималась не как государство, а как мировая экономика, то так называемое внутреннее объяснение Дobbа перехода от феодализма к капитализму имело мало смысла, поскольку оно предполагало, что переход происходил многократно, государство за государством, в рамках одной и той же мировой системы.

Такой способ формулирования единицы анализа впоследствии связался с более ранними идеями. Карл Поланьи, венгерский (позже британский) экономический

историк, настаивал на разграничении трех форм экономической организации, которые он назвал: взаимной (своего рода прямой обмен), перераспределительной (при которой товары перемещаются снизу вверх по социальной лестнице, а затем частично возвращаются вниз) и рыночной (при которой обмен происходит в денежной форме в публичной сфере). Категории исторических типов систем — мини-системы, мировые империи и мировые экономики — представлялись еще одним способом выражения трех форм экономической организации Поланьи. Мини-системы использовали взаимность, мировые империи — перераспределение, а мировые экономики — рыночный обмен.

В анализ были включены и категории Пребиша. Утверждалось, что капиталистическая мировая экономика характеризуется осевым разделением труда между основными и периферийными производственными процессами, что приводит к неравному обмену, благоприятствующему тем, кто участвует в основных производственных процессах. Поскольку такие процессы, как правило, сосредоточены в определенных странах, можно сократить терминологию, говоря о центральных и периферийных зонах (или даже о центральных и периферийных государствах), если помнить, что центральными или периферийными являются именно производственные процессы, а не государства. В анализе мировых систем понятие «центр-периферия» является реляционным понятием, а не парой овеществленных терминов — то есть терминов с отдельными, существенными значениями.

Что делает производственный процесс центральным или периферийным? Стало ясно, что ответ кроется в степени относительной монополизации каждого конкретного процесса или в степени его рыночной конъюнктуры. Относительно монополизированные процессы были гораздо более прибыльными, чем процессы свободного рынка. Это делало страны с централизованными процессами более платежеспособными. И учитывая неравную силу монополизированных продуктов по отношению к продуктам, на рынке которых присутствует множество производителей, конечным результатом обмена между центральными и периферийными продуктами был поток прибавочной стоимости (в данном случае, большая доля реальной прибыли от множества местных производств) в сторону тех государств, где было больше централизованных процессов.

Влияние Броделя имело решающее значение в двух отношениях. Во-первых, в своих поздних работах о капитализме и цивилизации Бродель вновь настаивал на четком разграничении между сферой свободного рынка и сферой монополий. Он называл капитализмом только последнюю и, будучи отнюдь не тем же самым, что и свободный рынок, утверждал, что капитализм является «антирынком». Эта концепция представляла собой прямое посягательство, как содержательное, так и терминологическое, на классическое представление экономистов (включая Маркса) о связи рынка и капитализма. Во-вторых, настаивание Броделя на множественности социальных времен и его акцент на структурном времени — том, что он называл *longue durée*¹ — были центральными для анализа мировых систем. Для аналитиков мировых систем *longue durée* — это продолжительность конкретной исторической системы. Обобщения о функционировании такой системы должны были избегать ловушки, заключающейся в том, чтобы выглядеть как вневременные утверждения, вечные истины. Если такие системы не вечны, то из этого следует, что у них есть начало, жизнь, в течение которой они «развивались», и конечные переходы.

С другой стороны, эта точка зрения подкрепляла утверждение о том, что социальные науки должны быть историческими, наблюдая явления в течение

¹ Длительный срок, на протяжении длительного периода. (фр., прим. пер.)

длительных периодов и на обширных географических территориях. Но она также открыла, или вновь открыла, вопрос о «переходах». Добб и Свизи представили совершенно разные объяснения перехода от феодализма к капитализму, но их объединяло убеждение, что, как бы ни объяснялся этот переход, он был неизбежным событием. Это убеждение нашло отражение в теории прогресса эпохи Просвещения, которая лежала в основе как классической либеральной, так и классической марксистской мысли. Аналитики мировых систем стали скептически относиться к неизбежности прогресса. Они рассматривали прогресс как возможность, а не как нечто само собой разумеющееся. Они ставили под сомнение, можно ли вообще назвать построение капиталистической мировой экономики прогрессом. Этот скептический взгляд позволил им включить в повествование о человеческой истории реалии тех систем, которые были объединены под заголовком «азиатская модель производства». Больше не нужно было беспокоиться о том, находятся ли эти структуры в какой-либо конкретной точке исторической кривой. И теперь можно задаться вопросом, почему произошел переход от феодализма к капитализму (как будто возможность того, что его не было, представлялась реальной альтернативой), и не предполагать его неизбежность, а просто искать непосредственные причины этого перехода.

Третий элемент анализа мировых систем заключался в игнорировании традиционных границ в социальных науках. Аналитики мировых систем анализировали всю социальную систему в долгосрочной перспективе. Таким образом, они чувствовали себя свободными анализировать материалы, которые когда-то считались исключительной прерогативой историков, экономистов, политологов или социологов, и анализировать их с использованием общей аналитической структуры. В результате анализ мировых систем не был междисциплинарным, поскольку аналитики не признавали интеллектуальную легитимность этих дисциплин. Они действовали однодисциплинарно.

Конечно, эта трилогия критических замечаний — мировые системы, а не государства как единица анализа, настаивание на концепции «долгосрочной перспективы» и монодисциплинарный подход — представляла собой атаку на многие незыблемые догмы. Контратака была ожидаема. Она последовала немедленно и энергично с четырех сторон: номотетических позитивистов, ортодоксальных марксистов, сторонников автономии государства и культурных партикуляристов. Главная критика каждой из них заключалась в том, что их основные предпосылки не были приняты анализом мировых систем. Это, конечно, было верно, но отнюдь не являлось сокрушительным интеллектуальным аргументом.

Номотетические позитивисты утверждали, что анализ мировых систем по своей сути является нарративным, что его теоретизирование основано на гипотезах, которые не были строго проверены. Более того, они часто заявляли, что многие положения в анализе мировых систем непроверяемы и, следовательно, по своей сути недействительны. Отчасти это критика недостаточной (или отсутствующей) количественной оценки в исследованиях. Отчасти это критика недостаточного (или отсутствующего) сведения сложных ситуаций к простым, четко определенным переменным. Отчасти это намек на проникновение ценностно-ориентированных предпосылок в аналитическую работу.

Конечно, это, по сути, противоположность критике номотетического позитивизма в рамках анализа мировых систем. Аналитики мировых систем настаивают на том, что вместо сведения сложных ситуаций к более простым переменным, усилия следует направлять на усложнение и контекстуализацию всех так называемых более простых переменных, чтобы понять реальные социальные ситуации. Аналитики мировых систем

не против количественной оценки как таковой (они будут количественно оценивать все, что полезно для количественной оценки), но (как учит нас старая шутка о пьянице) они считают, что не следует искать потерянный ключ под фонарным столбом только потому, что там лучше свет (где больше поддающихся количественной оценке данных). Поиск наиболее подходящей информации осуществляется исходя из интеллектуальной проблемы; проблему выбирают не потому, что есть твердые количественные данные. Этот спор можно понимать как то, что французы называют диалогом глухих. В конечном счете, вопрос заключается не в абстрактном вопросе о правильной методологии, а в том, могут ли аналитики мировых систем или номотетические позитивисты предложить более правдоподобное объяснение исторической реальности и, таким образом, пролить свет на социальные изменения в течение длительных периодов и в больших масштабах.

Если номотетические позитивисты порой кажутся приверженцами ряда интеллектуальных ограничений, лишенных пространства и юмора, то так называемые ортодоксальные марксисты не сильно отстают. Ортодоксальный марксизм пронизан образами социальных наук XIX века, которые он разделяет с классическим либерализмом: капитализм — это неизбежная эволюция от феодализма; фабричная система — это квинтэссенция капиталистического механизма производства; социальные процессы линейны; экономическая база контролирует менее фундаментальную политическую и культурную надстройку. Критика анализа мировых систем, высказанная ортодоксальным марксистским экономическим историком Робертом Бреннером, является хорошим примером этой точки зрения.

Таким образом, марксистская критика анализа мировых систем заключается в том, что, обсуждая ось «центр-периферия» в разделении труда, он проявляет циркуляционизм и игнорирует производственную базу прибавочной стоимости и классовую борьбу между буржуазией и пролетариатом как объясняющую переменную социальных изменений. Анализ мировых систем обвиняют в том, что он не признает неоплачиваемый труд анахронизмом и находящимся на грани исчезновения. И снова критики переворачивают направленную в их адрес критику с ног на голову. Аналитики мировых систем настаивали на том, что оплачиваемый труд является лишь одной из многих форм контроля над трудом в капиталистической системе, и не самой прибыльной с точки зрения капитала. Они настаивали на том, что классовая борьба и все другие формы социальной борьбы могут быть поняты и оценены только в рамках мировой системы в целом. И они настаивали на том, что государства в капиталистической мировой экономике не обладают автономией или изоляцией, которые позволили бы охарактеризовать их как обладающие особым способом производства.

Критика со стороны сторонников автономии государства несколько противоположна ортодоксальной марксистской критике. В то время как ортодоксальные марксисты утверждали, что анализ мировых систем игнорирует определяющую центральность способов производства, сторонники автономии государства утверждают, что анализ мировых систем превращает политическую сферу в арену, реалии которой вытекают из экономической базы и определяются ею. Критика социолога Теды Скокпол и политолога Аристиды Цольберга поддерживает эту точку зрения, опираясь на работы немецкого историка Отто Хинтце. Эта группа настаивает на том, что нельзя объяснить происходящее на государственном или межгосударственном уровне, просто рассматривая эти арены как часть капиталистической мировой экономики. Мотивы, управляющие действиями на этих аренах, утверждают они, автономны и реагируют на давление, отличное от рыночных сил.

Наконец, с появлением нескольких «пост-» концепций, связанных с культурологией, анализ мировых систем подвергся критике с помощью аргументов,

аналогичных тем, которые используют сторонники автономии государства. Утверждается, что анализ мировых систем исходит из надстройки (в данном случае, культурной сферы) экономической базы и игнорирует центральную и автономную реальность культурной сферы (см., например, критику социолога культуры Стэнли Ароновица). Аналитиков мировых систем обвиняют в совершении ошибок как номотетического позитивизма, так и ортодоксального марксизма, хотя они и считают себя критиками обеих школ мысли. Анализ мировых систем обвиняют в том, что он является всего лишь еще одной версией «большого нарратива». Несмотря на утверждение, что анализ мировых систем посвящен «тотальной истории», его обвиняют в экономизме, то есть в приоритете экономической сферы над другими сферами человеческой деятельности. Несмотря на его ранние и решительные нападки на евроцентризм, его самого обвиняют в евроцентризме за то, что он не признает неотъемлемую автономию различных культурных идентичностей. Короче говоря, его обвиняют в отрицании центральной роли «культуры».

Конечно, анализ мировых систем — это действительно грандиозный нарратив. Анализ мировых систем утверждает, что вся деятельность во всех формах знания обязательно включает в себя грандиозные нарративы, но некоторые из этих нарративов отражают реальность точнее, чем другие. Настаивая на тотальной истории и унидисциплинарности, аналитики мировых систем отвергают замену так называемой культурной базы экономической. Более того, как мы уже говорили, они стремятся стереть границы между экономическими, политическими и социокультурными моделями анализа. Прежде всего, аналитики мировых систем не хотят избавиться от всего. Быть против сциентизма — это не значит быть против науки. Быть против концепции вневременных структур не означает, что структуры (очерченные во времени) не существуют. Убеждение в том, что нынешняя организация дисциплин является препятствием, которое необходимо преодолеть, не означает, что коллективное знание (каким бы предварительным или эвристическим оно ни было) не было достигнуто. Быть против партикуляризма, замаскированного под универсализм, не означает, что все точки зрения одинаково обоснованы и что поиск плюралистического универсализма тщетен.

Общим для этих четырех критических замечаний является впечатление, что в миросистемном анализе отсутствует центральный действующий субъект в его историческом повествовании. Для номотетического позитивизма действующим лицом является индивид, *homo rationalis*. Для ортодоксального марксизма действующим лицом является промышленный пролетариат. Для сторонников автономии государства это политический человек. Для сторонников культурной партикуляризации каждый из нас (отличный от всех остальных) является действующим лицом, участвующим в автономном диалоге с остальными. Для миросистемного анализа эти действующие лица, подобно длинному списку структур, которые можно перечислить, являются продуктами процесса. Они не являются первородными атомарными элементами, а скорее частью системной смеси, из которой они возникли и на которую они воздействуют. Они действуют свободно, но их свобода ограничена их биографиями и социальными тюрьмами, частью которых они являются. Анализ их тюрем освобождает их в максимально возможной степени. Анализируя наши социальные тюрьмы, мы освобождаемся от их ограничений в той мере, в какой можем быть освобождены.

Наконец, следует подчеркнуть, что для аналитиков мировых систем время и пространство — или, скорее, пространственно-временная совокупность — не являются неизменными внешними реальностями, некоторыми где-то там, в рамках которых существует социальная реальность. Пространства-времена — это реальные конструкции, которые постоянно развиваются, и их построение является компонентом

социальной реальности, которую мы анализируем. Исторические системы, в которых мы живем, действительно системны, но они также и исторические. Они остаются неизменными с течением времени, но не идентичны от минуты к минуте. Это парадокс, но не противоречие. Способность справиться с этим парадоксом, которого мы не можем избежать, является первостепенной задачей исторических социальных наук. Это не загадка, а вызов.

2. СОВРЕМЕННАЯ МИРОВАЯ СИСТЕМА КАК КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОИЗВОДСТВО, ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ И ПОЛЯРИЗАЦИЯ

Мир, в котором мы живем, современная мировая система, зародилась в XVI веке. Тогда эта мировая система охватывала лишь часть земного шара, главным образом Европу и Америку. Со временем она расширилась, охватив весь мир. Это мировая экономика, и она всегда ею была. Это капиталистическая мировая экономика, и она всегда ею была. Начнем с объяснения значения этих двух терминов: мировая экономика и капитализм. Тогда будет легче понять исторические контуры современной мировой системы, ее происхождение, географию, временное развитие и современный структурный кризис.

Под мировой экономикой (по Брауделю *économie-monde*) мы понимаем обширную географическую область, в пределах которой существует разделение труда и, следовательно, значительный обмен основными или необходимыми товарами, а также поток капитала и рабочей силы. Определяющей характеристикой мировой экономики является то, что она не ограничена единой политической структурой. Напротив, в рамках мировой экономики существует множество политических единиц, слабо связанных друг с другом в нашей современной мировой системе в рамках межгосударственной системы. И мировая экономика включает в себя множество культур и групп (исповедующих разные религии, говорящих на разных языках и различающихся в своем повседневном поведении). Это не означает, что у них не выработались какие-либо общие культурные модели, которые мы назовем геокультурой. Это означает, что ни политической, ни культурной однородности не следует ожидать или находить в мировой экономике. Наиболее сильное объединение структуры — это установленное в ней разделение труда.

Капитализм — это не просто существование отдельных лиц или компаний, производящих товары для продажи на рынке с целью получения прибыли. Такие лица или компании существовали на протяжении тысячелетий по всему миру. Существование наемных работников также не является достаточным определением. Оплачиваемый труд известен уже тысячи лет. Мы находимся в капиталистической системе только тогда, когда система ставит во главу угла неустанное накопление капитала. Исходя из этого определения, только современная мировая система была капиталистической. Неустанное накопление — это относительно простое понятие: оно означает, что отдельные лица и компании накапливают капитал для того, чтобы накапливать еще больше капитала, — непрерывный и постоянный процесс. Если мы говорим, что система «ставит во главу угла» такое неустанное накопление, это означает, что существуют структурные механизмы, посредством которых те, кто действует с какой-либо другой мотивацией, тем или иным образом наказываются и в конечном итоге исключаются из общества, в то время как те, кто действует с соответствующей мотивацией, вознаграждаются и, в случае успеха, обогащаются.

Мировая экономика и капиталистическая система неразрывно связаны. Поскольку мировым экономикам не хватает объединяющего цемента в виде однородной политической структуры или культуры, их поддерживает эффективность разделения труда. А эта эффективность является функцией постоянно растущего богатства, которое обеспечивает капиталистическая система. До наступления современности искусственно созданные мировые экономики либо рушились, либо насильственно трансформировались в мировые империи. Исторически единственной мировой экономикой, которая просуществовала долгое время, была современная мировая

система, и это потому, что капиталистическая система укоренилась и стала её определяющей характеристикой.

По тем же причинам капиталистическая система не может существовать в любых рамках, а только в рамках мировой экономики. Мы увидим, что капиталистическая система требует особых взаимоотношений между экономическими производителями и теми, кто обладает политической властью. Если последние слишком сильны, как в случае мировой империи, их интересы возобладают над интересами экономических производителей, и неустанное накопление капитала перестанет быть приоритетом. Капиталистам нужны большие рынки (поэтому мини-системы для них слишком узки), но им также необходимо множество государств, как для того, чтобы извлекать выгоду из сотрудничества с государствами, так и для того, чтобы избегать враждебных по отношению к их интересам государств в пользу дружественных им. Только существование множества государств в рамках общего разделения труда обеспечивает эту возможность.

Капиталистическая мировая экономика представляет собой совокупность множества институтов, сочетание которых определяет ее процессы, причем все они взаимосвязаны. К основным институтам относятся рынок, или, скорее, рынки; компании, конкурирующие на рынках; множество государств в рамках межгосударственной системы; домохозяйства; классы; и статусные группы (терминология Вебера, то, что некоторые в последние годы называют «идентичностями»). Все это институты, созданные в рамках капиталистической мировой экономики. Конечно, такие институты имеют некоторое сходство с институтами, существовавшими в более ранних исторических системах, которым мы дали те же или похожие названия. Но использование одного и того же названия для описания институтов, расположенных в разных исторических системах, часто скорее запутывает, чем проясняет анализ. Лучше рассматривать группу институтов современной мировой системы как контекстуально специфичную для нее.

Начнём с рынков, поскольку они обычно считаются важнейшей чертой капиталистической системы. Рынок — это одновременно и конкретная, локальная структура, в которой отдельные лица или компании покупают и продают товары, и виртуальный институт, охватывающий пространство, где происходят аналогичные обмены. Размер и распространение виртуального рынка зависят от реальных альтернатив, доступных продавцам и покупателям в любой данный момент времени. В принципе, в капиталистической мировой экономике виртуальный рынок существует как единое целое внутри мировой экономики. Но, как мы увидим, на этих границах часто возникают помехи, создающие более узкие и «защищённые» рынки. Конечно, существуют отдельные виртуальные рынки для всех потребительских товаров, а также для капитала и различных видов труда. Но со временем можно также сказать, что существует единый глобальный виртуальный рынок для всех факторов производства вместе взятых, за пределами барьеров, препятствующих его свободному функционированию. Весь этот виртуальный рынок можно рассматривать как магнит, притягивающий всех производителей и покупателей, и это притяжение является постоянным политическим фактором в процессах принятия решений всеми: государствами, компаниями, домохозяйствами, классами и группами, обладающими статусом (или идентичностью). Весь этот виртуальный глобальный рынок является реальностью постольку, поскольку он влияет на все процессы принятия решений, но он никогда не функционирует полностью и свободно (то есть без вмешательства). Абсолютно свободный рынок функционирует как идеология, миф и ограничивающее влияние, но никогда не как повседневная реальность.

Одна из причин, почему полностью свободный рынок не является повседневной реальностью, если он когда-либо и существовал, заключается в том, что он сделал бы невозможным неустанное накопление капитала. Это может показаться парадоксальным, поскольку верно, что капитализм не может функционировать без рынков, и также верно, что капиталисты регулярно заявляют о своей поддержке свободных рынков. Но капиталистам на самом деле нужны рынки, которые не являются полностью свободными, а частично свободными. Причина очевидна. Предположим, существует глобальный рынок, на котором все факторы производства полностью свободны, как их обычно определяют наши учебники; то есть рынок, на котором факторы циркулируют без ограничений, на котором существует огромное количество покупателей и огромное количество продавцов, и на котором существует совершенная информация (то есть все продавцы и все покупатели знают точное состояние всех производственных издержек). На таком совершенном рынке покупатели всегда могли бы торговаться с продавцами, сводя цену к абсолютно мизерному уровню прибыли (скажем, всего к одному пенни), и этот низкий уровень прибыли сделал бы капиталистическую игру совершенно неинтересной для производителей, устранив тем самым основную социальную основу такой системы.

Продавцы всегда предпочитают монополию, поскольку в этом случае они могут создать большую относительную разницу между себестоимостью производства и продажными ценами, и, следовательно, получить высокую прибыль. Конечно, идеальные монополии крайне сложно создать, и они встречаются редко, но квазимонополии – нет. Больше всего необходима поддержка со стороны относительно сильного государственного аппарата, способного поддерживать квазимонополию. Существует множество способов достижения этой цели. Один из самых фундаментальных – патентная система, которая резервирует права на «изобретение» на определенное количество лет. Именно это, по сути, делает «новые» продукты самыми дорогими для потребителей и наиболее выгодными для производителей. Конечно, патенты часто нарушаются и в любом случае в конечном итоге истекают, но, как правило, они защищают квазимонополию в течение определенного времени. Даже в этом случае защищенная патентом продукция остается лишь квазимонополией, поскольку на рынке могут существовать другие продукты, не защищенные этим патентом. Именно поэтому для так называемых передовых отраслей (то есть продуктов, которые являются одновременно новыми и занимают значительную долю мирового рынка) обычной ситуацией является олигополия, а не абсолютная монополия. Однако олигополии достаточно эффективны для обеспечения высокой нормы прибыли, особенно с учетом того, что несколько фирм часто объединяются, чтобы минимизировать ценовую конкуренцию.

Патенты — не единственный способ, которым государства могут создавать квазимонополии. Другой способ — государственные ограничения на импорт и экспорт (так называемые протекционистские меры). Третий — государственные субсидии и налоговые льготы. Ещё один способ — способность сильных государств использовать свою власть для предотвращения разработки более слабыми государствами контрпротекционистских мер. Ещё один способ — роль государств как крупных покупателей определённых товаров, готовых платить непомерные цены. Наконец, регулирование, налагающее бремя на производителей, может быть относительно легко усваиваемым крупными производителями, но губительным для мелких — асимметрия, приводящая к вытеснению мелких производителей с рынка и, следовательно, к увеличению доли олигополии. Способы вмешательства государств в виртуальный рынок настолько обширны, что они являются фундаментальным фактором в определении цен

и прибыли. Без такого вмешательства капиталистическая система не могла бы процветать и, следовательно, не могла бы существовать.

Однако капиталистическая мировая экономика обладает двумя неотъемлемыми антимонопольными чертами. Во-первых, преимущество одного монопольного производителя означает потерю другого. Проигравшие будут вести политические переговоры, чтобы устранить преимущества победителей. Они могут сделать это, участвуя в торгах внутри государств, где расположены монопольные производители, апеллируя к доктринам свободного рынка и предлагая свою поддержку политическим лидерам, стремящимся положить конец определенным монопольным преимуществам. Или же они добиваются успеха, убеждая другие государства бросить вызов глобальной рыночной монополии, используя государственную власть для поддержки конкурентоспособных производителей. Используются оба метода. Таким образом, со временем каждая квазимонополия разрушается с появлением на рынке новых производителей.

Поэтому квазимонополии — это самоубийство. Но они существуют достаточно долго (скажем, около тридцати лет), чтобы обеспечить значительное накопление капитала теми, кто их контролирует. Когда квазимонополия перестает существовать, крупные накопители капитала просто переводят свой капитал в новые передовые продукты или совершенно новые передовые отрасли. В результате возникает цикл передовых отраслей. Передовые отрасли имеют относительно короткий срок существования, но их постоянно вытесняют другие передовые отрасли. И игра продолжается. А некогда передовые отрасли становятся все более и более «конкурентоспособными», то есть все больше и больше сокращают свою прибыль. Мы постоянно наблюдаем эту модель поведения.

Компании являются главными игроками на рынке. Как правило, они являются конкурентами других фирм, работающих на том же виртуальном рынке. Они также находятся в конфликте с фирмами, у которых закупают сырье, и с теми, которым продают свою продукцию. Жесткая межкапиталистическая конкуренция — это норма. И выживают только самые сильные и гибкие. Следует помнить, что банкротство или поглощение более сильной компанией — это хлеб насущный для капиталистических предприятий. Не всем капиталистическим предпринимателям удастся накапливать капитал. Совсем наоборот. Если бы всем это удалось, каждый получил бы очень мало капитала. Поэтому повторяющиеся «неудачи» компаний не только очищают территорию от слабых конкурентов, но и являются необходимым условием для непрерывного накопления капитала. Именно это объясняет постоянный процесс концентрации капитала.

Давайте внесем ясность: рост компании имеет свои компромиссы, будь то горизонтальный (с тем же продуктом), вертикальный (на разных этапах производственной цепочки) или, как это можно назвать, ортогональный (с другими, не тесно связанными продуктами). Размер снижает издержки за счет эффекта масштаба. Но размер также увеличивает административные и координационные издержки и многократно повышает риски управленческой неэффективности. В результате этого противоречия наблюдается повторяющаяся зигзагообразная картина роста и последующего сокращения компаний. Но это не простой цикл расширения и сокращения. Во всем мире наблюдается устойчивый рост размеров компаний; весь исторический процесс напоминает шестерню, где на каждые две деления вперед, одно деление назад постоянно теряется. Размер компании также имеет прямые политические последствия. Большой размер дает компаниям большее политическое влияние, но также делает их более уязвимыми для политических атак (со стороны конкурентов, сотрудников и

потребителей). Но в данном случае суть сводится к системе храпового механизма, которая со временем увеличивает политическое влияние.

Осевое разделение труда в капиталистической мировой экономике делит производство на основные и периферийные продукты. Концепция «ядро-периферия» носит реляционный характер. Под ядром-периферией мы понимаем степень прибыли в производственном процессе. Поскольку прибыль напрямую связана со степенью монополизации, под основными производственными процессами мы, по сути, подразумеваем те, которые контролируются квазимонополиями. Периферийные процессы, следовательно, являются по-настоящему конкурентными. При обмене конкурентные продукты находятся в более слабом положении, а квазимонополистические — в более сильном. В результате происходит постоянный поток прибавочной стоимости от производителей периферийных продуктов к производителям основных продуктов. Это то, что называется неравным обменом.

Безусловно, неравный обмен — не единственный способ перераспределения накопленного капитала из политически слабых регионов в политически сильные. Существует также грабеж, широко использовавшийся в ранние периоды включения новых регионов в мировую экономику (вспомним, например, конкистадоров и золото Америки). Но грабеж саморазрушителен. Это классический случай убийства курицы, несущей золотые яйца. Однако, поскольку последствия носят среднесрочный характер, а выгоды — краткосрочный, в современной мировой системе грабежа по-прежнему много, хотя сейчас мы склонны испытывать «шок», когда узнаём о нём. Когда Enron объявляет о банкротстве после процедур, включающих передачу огромных сумм денег в руки нескольких управляющих, это, по сути, грабеж. Когда «приватизация» государственной собственности ставит её под контроль квази-мафии, которая поспешно покидает страну, оставляя после себя разрушенные компании, это тоже грабеж. Это самоубийство, да, но только после того, как будет нанесен значительный ущерб мировой производственной системе, а также здоровью мировой капиталистической экономики.

Поскольку квазимонополии зависят от защиты сильных государств, они, как правило, расположены — юридически, физически и с точки зрения собственности — внутри таких государств. Следовательно, отношения «центр-периферия» имеют географические последствия. Центральные процессы, как правило, сосредоточены в нескольких государствах и составляют большую часть производственной деятельности в этих государствах. Периферийные процессы, как правило, распространены на большом количестве государств и составляют большую часть производственной деятельности в этих государствах. Таким образом, для краткости мы можем говорить о центральных и периферийных государствах, при условии, что мы помним, что на самом деле обсуждаем взаимосвязь между производственными процессами. Некоторые государства обладают почти равным соотношением центральных и периферийных продуктов. Мы называем их полупериферийными государствами. Они имеют, как мы увидим, специфические политические характеристики. Однако говорить о полупериферийных производственных процессах нецелесообразно.

Как мы уже видели, квазимонополии имеют тенденцию к саморазрушению, поэтому то, что сегодня является ключевым процессом, завтра станет периферийным. Экономическая история современной мировой системы изобилует такими сдвигами, или деградацией продуктов, сначала в полупериферийных странах, а затем в периферийных. Если около 1800 года текстильное производство, скорее всего, было основным ключевым производственным процессом, то к 2000 году оно явно стало одним из наименее прибыльных периферийных производственных процессов. В 1800 году текстиль производился в основном в очень немногих странах (Англия и некоторые другие страны

северо-западной Европы); к 2000 году текстиль производился повсюду в мировой системе, особенно дешевый текстиль. Эти процессы повторялись со многими другими продуктами. Рассмотрим сталь, автомобили или даже компьютеры. Этот тип сдвига не оказал никакого влияния на структуру системы. К 2000 году другие ключевые процессы (авиационное производство или генная инженерия) были сосредоточены в нескольких странах. Всегда появлялись новые централизованные процессы, которые заменяли те, что становились более конкурентными и перемещались за пределы штатов, где они первоначально располагались.

Функции каждого государства в отношении производственных процессов существенно различаются в зависимости от соотношения центральных и периферийных процессов внутри него. В сильных государствах, содержащих непропорционально большую долю центральных процессов, их роль, как правило, определяется приоритетом защиты квазимонополий этих центральных процессов. В очень слабых государствах, содержащих непропорционально большую долю периферийных производственных процессов, эти процессы, как правило, не способны существенно повлиять на осевое разделение труда и, по сути, вынуждены смириться со своей предназначенной судьбой.

Полупериферийные государства обладают относительно равномерным сочетанием производственных процессов и находятся в очень сложной ситуации. Под давлением сильных государств и оказывая давление на более слабые, они в первую очередь стремятся сохранить дистанцию от периферии, одновременно стремясь получить доступ к ядру. Ни одна из этих операций не является легкой, и обе требуют значительного государственного вмешательства на мировом рынке. Именно эти полупериферийные государства наиболее агрессивно и публично проводят так называемую протекционистскую политику. Таким образом, они надеются «защитить» свои производственные процессы от конкуренции со стороны сильных иностранных компаний, одновременно пытаясь повысить эффективность отечественных предприятий, чтобы те могли лучше конкурировать на мировом рынке. Они жадно поглощают бывшие передовые отрасли промышленности, что сейчас определяется как достижение «экономического развития». В этом стремлении их конкуренция исходит не от государств ядра, а от других полупериферийных государств, столь же стремящихся стать получателями перемещения ресурсов, которое не может охватить всех претендентов одновременно или в одинаковой степени. В начале XXI века к полупериферийным странам были отнесены Южная Корея, Бразилия и Индия — страны с развитой промышленностью, экспортирующие продукцию (например, сталь, автомобили и лекарства) в периферийные регионы, но также регулярно связывающие их с центральными регионами в качестве импортеров более «передовой» продукции.

Естественная эволюция передовых отраслей — медленное исчезновение квазимонополий — объясняет циклические ритмы мировой экономики. Новая передовая отрасль даст мощный импульс расширению мировой экономики и приведет к значительному накоплению капитала. Но в то же время, и это естественно, приведет к более широкому распространению занятости в мировой экономике, повышению заработной платы и общему ощущению относительного процветания. По мере того, как все больше и больше фирм выходят на рынок бывшей квазимонополии, будет происходить «перепроизводство» (то есть избыточное производство по отношению к фактическому спросу в данный момент времени) и, следовательно, рост цен конкуренции (из-за снижения спроса), что приведет к снижению рентабельности. В определенный момент произойдет накопление непроданной продукции, что приведет к сокращению будущего производства.

Когда это происходит, мы, как правило, наблюдаем обратную сторону циклической кривой мировой экономики. Тогда мы говорим о стагнации или рецессии в мировой экономике. Растет уровень безработицы в мире. Производители стремятся снизить издержки, чтобы сохранить свою долю на мировом рынке. Один из используемых механизмов — перенос производственных процессов в регионы с исторически более низкими заработными платами, то есть в полупериферийные страны. Этот сдвиг усиливает давление на уровень заработной платы в тех процессах, которые остаются в центральных регионах, и эти заработные платы также имеют тенденцию к снижению. Эффективный спрос, которого изначально не хватало из-за перепроизводства, теперь становится недостаточным из-за сокращения потребительских расходов. В такой ситуации не все производители проигрывают. Происходит очевидное и резкое усиление конкуренции среди ныне ослабленной олигополии, которая в настоящее время участвует в этих производственных процессах. Они жестко конкурируют, часто с помощью своего оборудования. Некоторые государства и некоторые производители успешно «экспортируют безработицу» из одного из центральных государств в другие. В системном плане наблюдается сокращение, но некоторые центральные государства, и особенно некоторые полупериферийные государства, по-видимому, находятся в более выгодном положении.

Описанный нами процесс — расширение мировой экономики при наличии квазимонополистических ведущих отраслей и сокращение мировой экономики при снижении интенсивности квазимонополий — можно представить в виде синусоидальной кривой с фазами А (расширение) и В (стагнация). Цикл, состоящий из фазы А, за которой следует фаза В, иногда называют циклом Кондратьева, по имени экономиста, который четко описал это явление в начале XX века. Циклы Кондратьева до сих пор длились приблизительно от пятидесяти до шестидесяти лет. Их точная продолжительность зависит от политических мер, принимаемых государствами для предотвращения фазы В, и особенно от мер, принимаемых для достижения восстановления после фазы В на основе новых ведущих отраслей, которые могут стимулировать новую фазу А.

Когда цикл Кондратьева заканчивается, ситуация никогда не возвращается к тому состоянию, в котором она была в начале цикла. Это происходит потому, что действия, предпринятые на этапе В для выхода из него и возвращения к этапу А, существенно изменяют параметры мировой системы. Изменения, решающие непосредственную (или краткосрочную) проблему недостаточного расширения мировой экономики (важный элемент для поддержания возможности непрерывного накопления капитала), обеспечивают среднесрочное равновесие, но начинают создавать проблемы в долгосрочной структуре. Результатом является то, что мы называем вековым трендом. Вековой тренд следует рассматривать как кривую, координата (или ось x) которой отмечает время, а ордината (или ось y) измеряет явление, указывая долю группы с определенной характеристикой. Если со временем процент имеет тенденцию к линейному увеличению, это означает, что по определению (поскольку ордината выражена в процентах) в какой-то момент это прекратится. Мы называем это достижением асимптоты, или 100%. Ни один отдельный показатель не может превышать 100% ни в одной группе. Это означает, что, хотя мы решаем среднесрочные проблемы, подталкивая кривую вверх, в долгосрочной перспективе мы в конечном итоге столкнемся с проблемой приближения к асимптоте.

Рассмотрим пример того, как это работает в капиталистической мировой экономике. Одна из проблем, наблюдаемых в циклах Кондратьева, заключается в том, что в определенный момент наиболее важные производственные процессы становятся

менее прибыльными, и эти процессы начинают перемещаться с целью снижения издержек. В то же время в ключевых регионах растет безработица, что влияет на совокупный эффективный спрос. Отдельные компании снижают свои издержки, но коллективу компаний становится сложнее найти достаточное количество потребителей. Один из способов восстановить достаточный уровень совокупного эффективного спроса — повысить заработную плату рядовых работников в ключевых регионах, что часто происходило в конце периода В Кондратьева. Это, в свою очередь, создает необходимый эффективный спрос для обеспечения достаточного количества потребителей для новых, передовых продуктов. Но, очевидно, более высокая заработная плата означает более низкую рентабельность для предпринимателей. В глобальном масштабе это можно компенсировать увеличением числа наемных работников в других частях мира, готовых работать за более низкую заработную плату. Этого можно добиться путем привлечения на рынок труда новых людей, для которых более низкая заработная плата фактически представляет собой увеличение их реального дохода. Но очевидно, что каждый раз, когда в рынок наемного труда включаются «новые» люди, сокращается число людей, остающихся вне его. Будет достигнута точка, когда группа сократится настолько, что фактически перестанет существовать. Тогда мы достигнем асимптоты. Мы вернемся к этой теме в заключительной главе, когда будем обсуждать структурный кризис XXI века.

Очевидно, что капиталистической системе нужны рабочие, которые предоставляют свой труд для производственного процесса. Часто утверждается, что такие рабочие — это пролетарии, то есть наемные рабочие, не имеющие альтернативных средств к существованию (поскольку у них нет земли, денег или недвижимости). Это не совсем точно. Почти все рабочие связаны с другими людьми в домохозяйствах, которые обычно включают людей разного пола и возраста. Многие, возможно, большинство таких домохозяйств можно назвать семьями, но семейные связи — не единственный способ, которым домохозяйства удерживаются вместе. Домохозяйства часто делят жилье, но это не так распространено, как можно было бы подумать.

Типичное домохозяйство состоит из трех-десяти человек, которые в долгосрочной перспективе (скажем, тридцать лет) объединяют свои ресурсы и доходы для коллективного выживания. Домохозяйства, как правило, не являются эгалитарными или неизменными структурами (люди рождаются и умирают, входят в домохозяйство или покидают его, и в любом случае они стареют и, следовательно, склонны менять свои экономические роли). Отличительной чертой домохозяйства является определенная форма обязательства обеспечивать доход для группы и делить потребление, получаемое от этого дохода. Домохозяйства сильно отличаются от кланов или племен и других крупных, разветвленных групп или образований, которые часто разделяют обязательства взаимопомощи и идентичности, но обычно не делят свой доход. Или, если такие крупные образования делят свой доход, они являются неэффективными для капиталистической системы.

Для начала необходимо проанализировать, что подразумевается под «доходом». В целом, в современной мировой системе существует пять видов дохода. И почти все домохозяйства стремятся получить все пять видов, хотя и в разных пропорциях (что оказывается очень важным). Один из очевидных видов — это заработная плата, то есть оплата (обычно в бумажных деньгах) от людей вне домохозяйства за работу члена домохозяйства, выполненную вне домохозяйства в каком-либо производственном процессе. Заработная плата может быть случайной или регулярной. Она может быть оплатой за затраченное время или за выполненную работу (сдельная оплата). Преимущество заработной платы для работодателя заключается в ее «гибкости» (то есть, продолжение работы зависит от потребностей работодателя), хотя профсоюзы, другие

формы организации труда и государственное законодательство часто ограничивают гибкость работодателей различными способами. Тем не менее, работодатели почти никогда не обязаны обеспечивать пожизненную поддержку конкретным работникам. Однако эта система также имеет недостатки для работодателей, поскольку чем больше работников им нужно, тем меньше вероятность того, что они их найдут, особенно если экономика растет. Таким образом, в системе оплаты труда работодатель обменивает невозможность выплачивать заработную плату работникам в периоды, когда они не нужны, на гарантию того, что работники будут доступны, когда они понадобятся.

Второй и очевидный источник дохода для домохозяйства — это деятельность, направленная на обеспечение собственного существования. Обычно мы определяем этот вид работы очень узко, рассматривая его лишь как усилия сельских жителей по выращиванию продуктов питания и производству товаров для собственного потребления без прохождения через рынок. На самом деле это одна из форм производства для собственного существования, и этот вид работы заметно сокращается в современной мировой системе, поэтому мы утверждаем, что производство для собственного существования исчезает. Однако, используя такое ограничительное определение, мы не учитываем множество способов, которыми деятельность по обеспечению собственного существования фактически возрастает в современном мире. Когда кто-то готовит дома или моет посуду, это производство для собственного существования. Когда домовладелец собирает купленный в магазине предмет мебели, это производство для собственного существования. И когда профессионал использует компьютер для отправки электронного письма, которое раньше набирала бы (оплачиваемая) секретарь, он или она занимается производством для собственного существования. Сегодня в экономически более благополучных регионах капиталистической мировой экономики производство товаров для собственного потребления составляет значительную часть дохода домохозяйств.

Третий тип дохода домохозяйства — это то, что мы можем в общем назвать мелкомасштабным товарным производством. Мелкомасштабное товарное производство определяется как продукция, произведенная внутри домохозяйства, но продаваемая за деньги на рынке. Очевидно, что этот тип производства остается широко распространенным в беднейших регионах мировой экономики, но он не полностью отсутствует в других регионах. В более богатых регионах мы часто называем это «фрилансом». Этот вид деятельности включает в себя не только сбыт произведенных товаров (включая, конечно, интеллектуальную собственность), но и мелкомасштабное товарное производство. Когда ребенок продает сигареты или спички поштучно на улице потребителям, которые не могут позволить себе купить их в тех количествах, в которых они обычно продаются, ребенок занимается мелкомасштабным товарным производством, а именно разборкой большой упаковки и ее транспортировкой на уличный рынок.

Четвертый вид дохода — это то, что мы обычно называем рентой. Рента может быть получена за счет крупных капиталовложений (сдача в аренду городских квартир или комнат в квартирах), за счет выгодного местоположения (сбор платы за проезд по частному мосту) или за счет владения акциями (купоны по облигациям или проценты, полученные на сберегательном счете). Суть ренты в том, что доход возможен не от труда, а от собственности.

Наконец, существует пятый тип дохода, который в современном мире мы называем трансфертными платежами. Их можно определить как доход, который человек получает в силу обязательства третьей стороны предоставлять этот доход. Такие трансфертные платежи могут поступать от близких к домохозяйству людей, например,

когда подарки или займы предоставляются от одного поколения к другому при рождении, браке или смерти. Подобные трансфертные платежи между домохозяйствами могут осуществляться на взаимной основе (что, теоретически, гарантирует отсутствие дополнительного дохода в течение жизни, но, как правило, устраняет потребность в ликвидности). Или трансфертный платеж может происходить через схему страхования (где в конечном итоге можно получить выгоду или нет), или через перераспределение средств от одного экономического класса к другому.

Как только мы начинаем задумываться, мы понимаем, что в семьях происходит объединение ресурсов. Представьте себе американскую семью среднего класса, в которой мужчина работает (и, возможно, имеет вторую работу), женщина управляет кейтеринговой компанией на дому, сын-подросток разносит газеты, а двенадцатилетняя дочь работает няней. Добавьте к этому, возможно, бабушку, получающую вдовью пенсию и иногда присматривающую за маленьким ребенком, а также комнату над гаражом, которую они сдают в аренду. Или рассмотрим мексиканскую семью рабочего класса, в которой мужчина нелегально эмигрировал в Соединенные Штаты и отправляет деньги домой, женщина ухаживает за небольшим садом дома, дочь-подросток работает домашней прислужкой (и получает оплату наличными и натурой) в богатом мексиканском доме, а сын-подросток продает безделушки на городском рынке после школы (или вместо школы). Каждый из нас может представить себе множество подобных ситуаций.

На практике немногие домохозяйства функционируют без всех пяти типов дохода. Но сразу видно, что людей, которые, как правило, обеспечивают доход, можно разделить на категории по полу или возрасту. То есть многие из этих задач определяются возрастом и полом. Наемный труд долгое время считался прерогативой взрослых в возрасте от четырнадцати-восемнадцати до шестидесяти пяти лет. Производство товаров для собственного потребления и мелких товаров в основном определялось как сфера деятельности взрослых женщин, детей и пожилых людей. Государственные трансферты доходов в основном ограничивались наемным трудом, за исключением некоторых трансфертов, связанных с уходом за детьми. Большая часть политической деятельности последних ста лет была направлена на преодоление общей специфики этих определений.

Как мы уже отмечали, относительная важность различных форм дохода в конкретных домохозяйствах значительно варьируется. Выделим два важных варианта: домохозяйство, в котором заработная плата составляет пятьдесят процентов или более от общего дохода за всю жизнь, и домохозяйство, в котором она составляет меньшую долю. Назовем первое «пролетарским домохозяйством» (поскольку оно, по-видимому, сильно зависит от заработных плат, что как раз и подразумевает термин «пролетариат»); а второе — «полупролетарским домохозяйством» (поскольку, несомненно, определенный процент дохода от заработной платы приходится на большинство его членов). В этом случае мы сможем заметить, что работодатель получает преимущества, нанимая наемных работников, проживающих в полупролетарских домохозяйствах. Везде, где наемный труд составляет существенную часть дохода домохозяйства, обязательно существует нижний предел того, сколько может получать наемный работник. Эта сумма должна представлять собой, по крайней мере, пропорциональную долю издержек воспроизводства домохозяйства. Именно поэтому мы можем рассматривать абсолютный минимальный уровень заработной платы. Однако, если наемный работник является членом полупролетарского домохозяйства, ему может выплачиваться заработная плата ниже абсолютного минимального уровня без обязательного ущерба для выживания домохозяйства. Разница может быть покрыта дополнительным доходом из других источников, обычно от других членов домохозяйства. В таких случаях мы наблюдаем, как другие источники дохода в

домохозяйстве фактически переносят прибавочную стоимость работодателя наемному работнику сверх того, что наемный работник может перенести, что позволяет работодателю платить меньше, чем абсолютный минимальный уровень заработной платы.

Из этого следует, что в капиталистической системе работодатели, как правило, предпочитают нанимать работников из полупролетарских домохозяйств. Однако существуют два противоположных фактора давления. Один из них — давление со стороны самих наемных работников, стремящихся к «пролетаризации», поскольку это фактически означает более высокую заработную плату. Другой — противоречивое давление со стороны самих работодателей. В противовес потребности индивида в более низкой заработной плате, существует долгосрочная потребность в существенном и эффективном спросе в мировой экономике для поддержания рынка их продукции. Со временем, в результате этих двух различных факторов давления, наблюдается медленный рост числа пролетаризированных домохозяйств. Однако такое описание долгосрочных тенденций противоречит традиционному социально-научному взгляду на капитализм как на систему, которая в первую очередь нуждается в пролетариях как в работниках. Если бы это было так, было бы трудно объяснить, почему спустя четыреста или пятьсот лет доля пролетарских работников не выше, чем сейчас. Вместо того чтобы рассматривать пролетаризацию как капиталистическую необходимость, было бы полезнее рассматривать ее как поле борьбы, результатом которой стал медленный, но неуклонный рост, секулярная тенденция, приближающаяся к своей асимптоте.

В капиталистической системе классы существуют потому, что люди занимают разные ступени экономической лестницы, с различными уровнями дохода и интересами. Например, очевидно, что интересы рабочих заключаются в повышении их заработной платы, и столь же очевидно, что интересы работодателей заключаются в сопротивлении такому повышению, по крайней мере, в общих чертах. Но, как мы только что видели, наемные работники являются частью домохозяйств. Нелогично считать, что рабочие принадлежат к одному классу, а остальные члены семьи — к другому. Очевидно, что внутри классов находятся домохозяйства, а не отдельные лица. Лица, желающие участвовать в социальной мобильности, часто обнаруживают, что им необходимо покинуть свои нынешние домохозяйства и переехать в другие, чтобы достичь этой цели. Это непростая задача, но отнюдь не невыполнимая.

Однако классы — не единственные группы, в рамках которых существуют домохозяйства. Они также являются членами статусных или идентичностных групп. (Если мы называем их статусными группами, мы подчеркиваем, как их воспринимают другие, своего рода объективный критерий. Если мы называем их идентичностями, мы подчеркиваем, как они воспринимают себя, своего рода субъективный критерий. Но независимо от названия, они представляют собой институциональную реальность современной мировой системы.) Статусные или идентичностные группы функционируют как присвоенные ярлыки, поскольку мы рождаемся в них, или, по крайней мере, нам кажется, что мы в них состоим. В целом, добровольно присоединиться к этим группам сложно, хотя и не невозможно. Эти статусные или идентичностные группы — это многочисленные «индивиды», к которым мы все принадлежим: нации, расы, этнические группы, религиозные общины, а также гендеры и категории сексуальной ориентации. Большинство этих категорий воспринимаются как предполагаемые пережитки досовременной эпохи. Это ошибочное предположение. Принадлежность к статусным или идентичностным группам является важной частью современности. Вместо того чтобы исчезнуть, они приобретают все большее значение по

мере того, как логика капиталистической системы все больше разворачивается и все сильнее поглощает нас.

Если мы утверждаем, что домохозяйства находятся в рамках определенного класса и все их члены разделяют это положение, то справедливо ли это в равной степени в случае статусных или идентичностных групп? Внутри домохозяйств существует огромное давление, направленное на поддержание общей идентичности, на принадлежность к одной и той же статусной или идентичностной группе. Это давление в первую очередь ощущают все, кто вступает в брак, поскольку от них требуется, или, по крайней мере, на них оказывается давление, искать партнера внутри статусной или идентичностной группы. Но, очевидно, постоянное перемещение людей в современной мировой системе, а также нормативное давление, направленное на игнорирование статусных или идентичностных групп, к которым человек принадлежит, в пользу меритократического критерия, привело к значительному смешиванию первоначальных идентичностей в рамках домохозяйств. Однако обычно в каждом домохозяйстве происходит эволюция в сторону единой идентичности, появление новых, часто едва сформулированных, групповых идентичностей или статусов, которые закрепляют именно то, что начиналось как смешение, и таким образом воссоединяют домохозяйство с точки зрения групповых статусных идентичностей. Одним из элементов требований легализации однополых браков является стремление к воссоединению семейной идентичности.

Почему для домохозяйств так важно сохранять единую классовую и групповую идентичность статуса, или, по крайней мере, делать вид, что она существует? Такая гомогенизация, безусловно, помогает поддерживать единство домохозяйства как центра общих экономических ресурсов и преодолевать любые центробежные тенденции, которые могут возникнуть из-за внутреннего неравенства в распределении потребления и процессах принятия решений. Однако было бы ошибкой рассматривать эту тенденцию прежде всего как внутренний защитный механизм группы. Поддержка гомогенизирующей тенденции внутри структур домохозяйств приносит значительные выгоды всей мировой системе.

Домохозяйства выступают в роли основных институтов социализации в мировой системе. В них нас, особенно молодежь, учат знаниям и уважению к социальным правилам, которым мы должны подчиняться. Это, конечно, поддерживается государственными учреждениями, такими как школы и армия, а также религиозными институтами и средствами массовой информации. Но ни один из них не оказывает такого же влияния, как домохозяйства. Что же тогда определяет, как домохозяйства социализируют своих членов? В целом, то, как вторичные институты формулируют эти вопросы для домохозяйств и их способность делать это эффективно, зависит от относительной однородности домохозяйств — то есть, имеют ли они и воспринимаются ли как имеющие определенную функцию в исторической социальной системе. Домохозяйство, убежденное в своей групповой идентичности или статусе — своей национальности, расе, религии, этнической принадлежности и кодексе сексуальности — точно знает, как социализировать своих членов. Домохозяйство, чья идентичность более неопределенна, но которое пытается создать однородную, хотя и новую, идентичность, как правило, функционирует почти так же хорошо. В семье, где постоянно допускалось бы расщепление идентичности, социальную функцию было бы практически невозможно выполнять, и ей было бы трудно выжить как группе.

Конечно, устоявшиеся силы социальной системы всегда ожидают, что социализация приведет к принятию вполне реальных иерархий, созданных этой системой. Они также ожидают, что социализация приведет к усвоению мифов, риторики

и теорий системы. Это происходит частично, но никогда полностью. Домохозяйства также социализируют своих членов на бунт, отторжение и отклонение от нормы. Действительно, в определенной степени такая антисистемная социализация может быть полезна для системы, предоставляя выход для беспокойных душ, пока вся система находится в относительном равновесии. В таком случае можно ожидать, что негативная социализация окажет, в лучшем случае, ограниченное влияние на функционирование системы. Но когда исторические системы вступают в структурные кризисы, такая антисистемная социализация может внезапно сыграть глубоко дестабилизирующую роль для системы.

До сих пор мы лишь приводили идентификацию пунктов...

Статусные группы и гендерная идентичность представлены как две альтернативные модели коллективного самовыражения домохозяйств. Но очевидно, что существует множество типов статусных групп, не всегда находящихся в полной гармонии друг с другом. Более того, с течением времени число разнообразных статусных групп увеличивалось, а не уменьшалось. В конце XX века люди начали утверждать свою идентичность на основе сексуальных предпочтений, которые не являлись основой для построения домохозяйства в предыдущие столетия. Поскольку мы все вовлечены в множество статусных групп или идентичностей, возникает вопрос о порядке приоритета этих идентичностей. В случае конфликта, какая из них должна преобладать? Какая преобладает? Может ли домохозяйство быть однородным на основе одной идентичности, но не на основе другой? Ответ очевиден: да, но каковы последствия?

Необходимо изучить внешнее давление на домохозяйства. Большинство статусных групп имеют ту или иную форму институционального выражения через домохозяйства. И эти институты оказывают прямое давление на домохозяйства не только с целью заставить их придерживаться своих норм и коллективных стратегий, но и с целью расставить приоритеты. Из институтов, действующих через домохозяйства, государства наиболее успешно влияют на них, поскольку обладают наиболее непосредственными инструментами давления (закон, распределение пособий, возможность мобилизовать средства массовой информации). Но там, где государство слабее, религиозные структуры, этнические организации и подобные группы могут стать самыми громкими голосами, настаивающими на приоритетах домохозяйств. Даже когда статусные или идентичностные группы называют себя антисистемными, они все равно могут сталкиваться с конкуренцией со стороны других антисистемных статусных или идентичностных групп, требующих приоритета лояльности. Именно эта сложная сеть идентичностей домохозяйств лежит в основе американских горок политических конфликтов в современной мировой системе.

Сложные взаимоотношения мировой экономики, компаний, государств, домохозяйств и институтов, опосредованные домохозяйствами, связанными с членами классовых и статусных групп, находятся под угрозой со стороны двух противоположных, но взаимодополняющих идеологических тем: универсализма, с одной стороны, и расизма и сексизма, с другой.

Универсализм — тема, тесно связанная с современной миросистемой. Во многом это одно из её достижений. В широком смысле универсализм означает приоритет общих правил, применяемых одинаково ко всем людям, и, следовательно, отказ от частных предпочтений в большинстве сфер. Единственными допустимыми правилами в рамках универсализма считаются те, которые могут продемонстрировать свою прямую применимость к надлежащему функционированию узко определённой миросистемы.

Универсализм имеет множество проявлений. Если перевести универсализм на уровень компании или школы, это означает, например, распределение людей по

различным должностям в зависимости от их образования и способностей (практика, известная как меритократия). Если перевести это на уровень семьи, это подразумевает, среди прочего, что брак должен заключаться по «любви», а не по признаку богатства, этнической принадлежности или каких-либо других особенностей. Если перевести это на уровень государства, это означает такие правила, как всеобщее избирательное право и равенство перед законом. Всем нам знакомы мантры, поскольку они с некоторой регулярностью повторяются в публичном дискурсе. Предполагается, что они являются центральным элементом нашей социализации. Конечно, мы знаем, что такие мантры используются неравномерно в разных частях мировой системы (и мы захотим разобраться, почему), и мы знаем, что на практике они далеки от полного соблюдения. Но они стали официальным евангелием современности.

Универсализм — это позитивная норма, то есть большинство людей подтверждают свою веру в него, и почти все считают его добродетелью. Расизм и сексизм — его полная противоположность. Они тоже являются нормами, но негативными, поскольку большинство людей отрицают веру в них. Почти все утверждают, что считают их пороками, и тем не менее они являются нормами. Более того, степень соблюдения этих негативных норм расизма и сексизма, по меньшей мере, так же высока, если не намного выше, чем добродетельная норма универсализма. Это может показаться аномалией, но это не так.

Давайте рассмотрим, что мы подразумеваем под расизмом и сексизмом. По правде говоря, эти термины вошли в обиход лишь во второй половине XX века. Расизм и сексизм — это примеры более широкого явления, не имеющего подходящего названия, но которое можно было бы назвать антиуниверсализмом, или активной институциональной дискриминацией в отношении всех людей определенного статуса или идентичности. Для каждого типа идентичности существует иерархическая социальная классификация. Это может быть грубая классификация, состоящая всего из двух категорий, или сложная, с целым рядом. Но всегда есть группа на вершине иерархической классификации и одна или несколько групп внизу. Эти классификации являются как глобальными, так и локальными, и оба типа классификации имеют огромные последствия для жизни людей и для функционирования капиталистической мировой экономики.

Всем нам знакома глобальная иерархическая классификация в современном мире: мужчины выше женщин, белые выше чернокожих (или не белых), взрослые выше детей (или пожилых людей), образованные выше необразованных, гетеросексуалы выше геев и лесбиянок, буржуазия и представители интеллигенции выше рабочих, городские жители выше сельских. Этническая иерархическая классификация более локальна, но в каждой стране одна этническая группа доминирует над другими. Религиозные иерархические классификации различаются по всему миру, но в любом конкретном регионе каждый осознает свое место в нем. Национализм часто принимает форму слияния двух сторон каждой антиномии в единую категорию, так что можно, например, создать норму, согласно которой только белые гетеросексуальные мужчины определенных этнических групп и религий могут считаться «истинными» гражданами.

В связи с этим описанием возникает несколько вопросов. В чём смысл провозглашения универсализма и одновременной практики антиуниверсализма? Почему существует такое разнообразие антиуниверсализмов? Является ли это антиномическое противоречие необходимой частью современной мировой системы? Универсализм и антиуниверсализм, по сути, действуют ежедневно, но в разных сферах. Универсализм, как правило, является наиболее сильным принципом, определяющим то, что мы могли бы назвать кадрами мировой системы: это не те, кто находится на вершине

по власти и богатству, и не те, кто обеспечивает большинство рабочих и простых людей во всех областях и по всему миру, а скорее промежуточная группа людей, занимающих руководящие или надзорные должности в различных учреждениях. Это норма, обеспечивающая оптимальный уровень набора технических, профессиональных и научных кадров. Эта промежуточная группа может быть более или менее многочисленной в зависимости от положения страны в мировой системе и её местной политической ситуации. Чем сильнее экономическое положение страны, тем больше будет эта группа. Когда универсализм теряет равновесие даже среди кадров в отдельных областях мировой системы, наблюдатели, как правило, видят дисфункцию, и почти сразу же возникает политическое давление (как внутри страны, так и со стороны остального мира) с целью восстановления определенной степени универсалистских критериев.

На это есть две разные причины. С одной стороны, считается, что универсализм гарантирует относительно компетентную работу и тем самым повышает эффективность мировой экономики, что, в свою очередь, улучшает способность к накоплению капитала. Поэтому те, кто обычно отвечает за процессы управления производством, склонны поддерживать универсалистские критерии. Очевидно, что универсалистский критерий вызывает недовольство, когда он применяется только после того, как был использован какой-либо частный критерий. Если государственная служба открыта только для людей определенной религии или этнической принадлежности, то отбор людей в этой категории может быть универсальным, но общий отбор — нет. Если универсалистский критерий применяется только во время отбора, в то время как частный критерий, согласно которому люди имеют доступ к необходимой предварительной подготовке, игнорируется, то возникает недовольство. Когда же, наоборот, выбор действительно универсалистский, недовольство все равно может возникнуть, поскольку выбор предполагает исключение, и мы можем подвергаться «популистскому» давлению с целью неограниченного и беспрепятственного доступа к должности. В свете этих многочисленных обстоятельств универсалистский критерий играет центральную социально-психологическую роль в легитимизации меритократических назначений. Он заставляет тех, кто достигает руководящего статуса, чувствовать себя оправданными в своем выгодном положении, игнорируя тот факт, что способ, которым так называемый универсалистский критерий предоставлял им доступ, не был по-настоящему универсальным, или игнорируя претензии других на доступ к материальным благам, которые в первую очередь предназначены для менеджеров. Норма универсализма чрезвычайно успокаивает тех, кто извлекает выгоду из системы. Она заставляет их чувствовать себя достойными того, чем они обладают.

С другой стороны, расизм, сексизм и другие антиуниверсалистские нормы выполняют не менее важную задачу в распределении труда, власти и привилегий в современной мировой системе. Они влекут за собой исключение из социального пространства. По сути, это другие способы включения, но включения в более низкие слои общества. Эти нормы существуют для того, чтобы оправдать более низкие слои, обеспечить их соблюдение и, как это ни парадоксально, даже сделать их терпимыми для тех, кто был низведен до более низкого уровня. Антиуниверсалистские нормы представляют себя как кодификации естественных и вечных истин, не подлежащих социальной модификации. Они представляются не только как культурные истины, но, неявно или даже явно, как биологически обусловленные потребности для функционирования человека.

Таким образом, они становятся нормами для государства, рабочего места и социального пространства. Но они также становятся нормами, которые домохозяйства вынуждены использовать для социализации своих членов — усилие, которое, как

правило, оказывается успешным. Таким образом, они оправдывают поляризацию мировой системы. По мере усиления поляризации с течением времени расизм, сексизм и другие формы антиуниверсализма приобретали все большее значение, даже несмотря на то, что политическая борьба против таких форм антиуниверсализма становилась все более важной для функционирования мировой системы.

В конечном счете, современная мировая система приобрела центральную характеристику в своей структуре существования, распространения и одновременной практики универсализма и антиуниверсализма. Этот антиномический дуэт столь же фундаментален для системы, как и разделение труда по оси центр-периферия.

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИСТЕМ: СУВЕРЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА, КОЛОНИИ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Современное государство — это суверенное государство. Суверенитет — это концепция, изобретенная в современной мировой системе. Его первоначальное значение — полная автономия от государственной власти. Но современные государства фактически существуют в кругу государств, который мы называем межгосударственной системой. Поэтому мы должны исследовать степень и содержание этой предполагаемой автономии. Историки говорят о появлении «новых монархий» в Англии, Франции и Испании в конце XV века, именно в тот момент, когда возникает современная мировая система. Что касается межгосударственной системы, то её истоки приписываются развитию дипломатии эпохи Возрождения на Итальянском полуострове, а её институционализацию большинство считает Вестфальским миром 1648 года. Вестфальский договор, подписанный большинством европейских государств, кодифицировал определенные законы межгосударственных отношений, которые устанавливали границы, а также гарантировали относительную автономию. Эти законы были разработаны и впоследствии расширены в рамках международного права.

Новые монархии централизовали структуры. То есть они стремились обеспечить эффективное подчинение региональных властных структур надзорной власти монарха. Они добивались этого путем укрепления (фактически, создания) гражданской и военной бюрократии. Что еще более важно, они стремились укрепить свои позиции, обеспечив себе определенные полномочия по сбору налогов и наняв достаточное количество персонала для эффективного их взыскания.

В XVII веке правители этих новых монархий провозгласили себя «абсолютными» монархами. Это могло бы привести к мысли о неограниченной власти. В действительности же им не хватало не только неограниченной власти, но и очень малой. Абсолютная монархия просто претендовала на право неограниченной власти. Термин «абсолютный» происходит от латинского *absolutus*, что означало не то, что монархия всемогуща, а то, что монарх не подчиняется законам и, следовательно, не может быть законно ограничен кем-либо в своих действиях, которые правитель считает необходимыми. Это допускало произвол, но не означало, что монарх обладал реальной властью, которая, как мы видели, была относительно ограничена. Чтобы компенсировать это, государства на протяжении веков стремились преодолеть недостаток реальной власти и добились в этом определенных успехов. Следовательно, одной из светских тенденций современной мировой системы с самого начала (по крайней мере, до 1970-х годов, как мы увидим) было медленное и неуклонное увеличение реальной власти государства. Если сравнить реальную власть (способность эффективно обеспечивать выполнение своих решений) Людовика XIV Французского (правившего с 1661 по 1715 год), часто считающегося архетипом абсолютной власти, с, например, премьер-министром Швеции в 2000 году, то мы быстро поймем, что последний обладал большей реальной властью в Швеции в 2000 году, чем Людовик Французский в 1715 году.

Самым мощным инструментом, который монархи использовали для увеличения своей власти, было создание бюрократических структур. Поскольку изначально им не хватало налоговых поступлений для финансирования этих бюрократий, они нашли решение в продаже должностей, что обеспечило монархам увеличение как числа бюрократов, так и доходов (и, следовательно, дополнительную долю власти, хотя и меньшую, чем если бы они могли напрямую нанимать бюрократов, как это будет происходить позже). Получив в своё распоряжение минимальную бюрократию, они

стремились использовать её для передачи государству контроля над всевозможными политическими функциями: сбором налогов, судами, законодательством и правоохранительными органами (полицией и армией). В то же время они стремились устранить или, по крайней мере, ограничить автономную власть местных дворян во всех этих областях. Они также стремились создать информационную сеть, чтобы гарантировать соблюдение своих намерений. Французы создали институт префектов — людей, представлявших центральное государство и проживавших в различных частях страны, — и этот институт в той или иной степени был скопирован всеми современными государствами.

Суверенитет представлял собой утверждение власти не только внутри страны, но и за ее пределами, то есть по отношению к другим государствам. В первую очередь, это было утверждение фиксированных границ, в пределах которых данное государство обладало суверенитетом, и в пределах которых никакое другое государство не имело права осуществлять какую-либо власть: исполнительную, законодательную, судебную или военную. Более того, эти утверждения государств о невмешательстве других государств в их внутренние дела чаще нарушались, чем тщательно соблюдались. Но само утверждение, тем не менее, служило для ограничения степени вмешательства. Границы также не оставались неизменными. Пограничные споры между государствами были постоянным явлением. Однако в любой момент времени де-факто существуют определенные границы, в пределах которых осуществляется суверенитет.

Есть еще одна фундаментальная характеристика суверенитета. Это притязание, а притязания мало что значат, если они не признаны другими. Другие могут не уважать эти притязания, но это во многом гораздо менее важно, чем их формальное признание. Суверенитет — это прежде всего вопрос легитимности. А в современной мировой системе легитимность суверенитета требует взаимного признания. Суверенитет — это гипотетический обмен, в котором две потенциально (или фактически) конфликтующие стороны, уважая фактическую реальность власти, обмениваются таким признанием как наименее затратной стратегией.

Взаимное признание является одним из краеугольных камней межгосударственной системы. Государства часто провозглашали себя суверенными, но не получали признания от большинства других государств. Без такого признания провозглашение относительно бесполезно, даже если государство сохраняет фактический контроль над данной территорией. Такое государство оказывается в шатком положении. Однако в любой момент времени большинство государств признаются всеми другими государствами. Обычно существуют некоторые предполагаемые государства, которые не признаются никем или только одним-двумя государствами (что фактически делает их государствами-защитниками). Наиболее сложная ситуация — это когда государство признается значительным числом стран, но не значительным числом других. Такая ситуация может возникнуть в результате сецессии или революционных изменений режима. Такое разделение в процессе признания создает дилемму и напряженность внутри межгосударственной системы, которую заинтересованные государства в конечном итоге пытаются разрешить тем или иным способом.

В первом десятилетии XXI века легко можно найти три примера возможных ситуаций в мировой системе. Соединенные Штаты и Куба, несмотря на взаимную политическую враждебность, не ставили под сомнение суверенитет друг друга, как и другие страны. Во втором случае, в Китае, провозглашение Китайской Народной Республики в 1949 году — когда новое правительство фактически получило контроль над материковой частью Китая, а предыдущее правительство ушло на Тайвань,

продолжая при этом претендовать на власть всей Китайской Республики — создало одну из тех промежуточных ситуаций, в которой часть мира признавала одно правительство, а часть мира — другое как суверенную власть всего Китая. Эта ситуация разрешилась в 1970-х годах, когда Организация Объединенных Наций признала полномочия Китайской Народной Республики, предоставив ей место в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности, и отозвала полномочия Китайской Республики (которая контролировала только Тайвань). Этот шаг был предпринят одновременно с тем, что Соединенные Штаты и многие другие страны признали легитимность Китайской Народной Республики как единственного правительства «единого Китая», в то время как де-факто правительство Тайваня, находившееся под контролем бывшего китайского правительства, осталось неизменным. После этого лишь немногие (в основном небольшие) страны продолжали признавать Китайскую Республику как легитимное правительство всего Китая, но баланс сил сместился в подавляющем большинстве в пользу Китайской Народной Республики. Третья ситуация касалась Турецкой Республики Северного Кипра. Она заявляла о своем суверенном статусе и имела де-факто власть над северной половиной острова. Однако ее суверенность признавалась только Турцией. Следовательно, ей не хватало международной легитимности; остальной мир по-прежнему признавал теоретический суверенитет Кипра над территорией, оккупированной Турецкой Республикой Северного Кипра. Если бы не поддержка Турции (в конечном итоге военная), Турецкая Республика Северного Кипра вскоре перестала бы существовать. В этих трех случаях мы видим решающую роль взаимного признания.

Рассмотрим теперь гипотетическую, но правдоподобную ситуацию. Предположим, что когда Партия Квебека впервые пришла к власти в 1976 году, она немедленно объявила Квебек суверенным государством (что, в конце концов, было основной программой партии), и предположим, что канадское правительство решительно выступило против этого политическими и, возможно, военными средствами. Предположим, что Франция признала Квебек, Англия отказалась это сделать, а Соединенные Штаты попытались сохранить нейтралитет. Что бы произошло? И стал бы Квебек суверенным государством?

Взаимность действует и на внутреннем уровне, хотя для её описания мы обычно используем другую терминологию. Местные власти должны «признавать» суверенную власть центрального государства, и в некотором смысле центральная власть должна признавать легитимную власть и определять сферу влияния местных властей. Во многих странах это взаимное признание закреплено в конституции или специальном законодательстве, определяющем разделение полномочий между центральным правительством и провинциями. Это соглашение может быть нарушено, и часто нарушается. Если нарушение серьёзное, то мы сталкиваемся с тем, что называется гражданской войной. Такую войну может выиграть центральная власть. Но её также могут выиграть местные власти, и в этом случае может произойти пересмотр правил, регулирующих разделение полномочий в пределах существующих государственных границ, или создание одного или нескольких суверенных государств путём отделения, что ставит перед вновь созданными государствами вопрос о получении признания на межгосударственной арене. Распад Югославии — хороший тому пример: в результате этого распада осталось нерешенным множество вопросов, касающихся границ и автономии, так что спустя несколько лет после распада существуют фактические границы, которые до сих пор являются предметом спора.

Таким образом, суверенитет — это правовое провозглашение, имеющее огромные политические последствия. Именно из-за этих последствий вопросы, связанные с суверенитетом, занимают центральное место в политической борьбе, как внутри

государств, так и между ними. С точки зрения предпринимателей, работающих в капиталистической мировой экономике, суверенные государства осуществляют власть как минимум в семи основных областях, представляющих для них непосредственный интерес:

- 1) Государства устанавливают правила обмена товарами, капиталом и рабочей силой, а также условия, при которых они могут пересекать их границы.
- 2) Они создают законы, касающиеся прав собственности внутри своих границ.
- 3) Они устанавливают правила, касающиеся занятости и оплаты труда работников.
- 4) Они определяют издержки, которые должны нести компании.
- 5) Они определяют, какие виды экономических процессов должны быть монополизированы и в какой степени.
- 6) Они собирают налоги.
- 7) Наконец, когда компании, расположенные на их территории, могут быть затронуты, они могут использовать свою внешнюю власть для влияния на решения других государств.

Это длинный список, и, просто взглянув на него, можно понять, что с точки зрения бизнеса государственная политика имеет решающее значение.

Взаимоотношения между государствами и корпорациями имеют ключевое значение для понимания того, как функционирует капиталистическая мировая экономика. Официальной идеологией большинства капиталистов является принцип невмешательства государства, доктрина, согласно которой правительства не должны вмешиваться в работу предпринимателей на рынке. Важно понимать, что, как правило, предприниматели громко заявляют об этой идеологии, но на самом деле не хотят видеть её реализации, по крайней мере, в полной мере, и уж точно не ведут себя так, будто считают её последовательной доктриной.

Начнём с границ. Теоретически суверенное государство имеет право решать, что может пересекать его границы и при каких условиях. Чем сильнее государство, тем больше его бюрократический аппарат и, следовательно, тем больше его возможности по обеспечению соблюдения решений, касающихся трансграничных операций. Существует три основных типа трансграничных операций: перемещение товаров, капитала и людей. Продавцы хотят, чтобы их товары пересекали границы без помех и без уплаты налогов. С другой стороны, конкурирующие продавцы внутри пересекаемых границ могут желать вмешательства государства путем введения квот и тарифов или предоставления субсидий на их продукцию. Любое решение государства будет отдавать предпочтение одному бизнесу перед другим. Нейтральной позиции не существует. То же самое относится и к потоку капитала.

Трансграничное перемещение людей всегда находилось под пристальным наблюдением, и, конечно же, это касается бизнеса, поскольку затрагивает работников. Как правило, поток работников из одной страны в другую представляет собой рыночное преимущество для работодателей в принимающей стране и рыночный недостаток для местных работников, если использовать краткосрочную модель спроса и предложения. Это исключает из анализа два элемента, которые могут стать центральными в дискуссии: влияние внутренней социальной структуры любой страны иммиграции; и долгосрочное экономическое воздействие иммиграции (которое может быть положительным, даже если краткосрочное воздействие заметно отрицательно, по крайней мере, для некоторых людей). Опять же, нейтральных позиций не существует.

Права собственности, разумеется, являются краеугольным камнем капиталистической системы. Невозможно непрерывно накапливать капитал, если не

удается поддерживать уже накопленный капитал. Права собственности — это законы, ограничивающие возможности государства по конфискации денег, права родственников на долю в активах или хищению средств другими лицами. Кроме того, капиталистическая система функционирует на основе минимального уровня взаимного доверия к честности сделок, и поэтому предотвращение мошенничества является важнейшим социальным требованием. Это настолько очевидно, что едва ли стоит об этом упоминать. Но ясно, что основным действующим лицом в этих действиях по защите прав собственности является государство, которое единственно может законно устанавливать правила. Очевидно, что ни одно из этих прав не является неограниченным. И также очевидно, что существует множество действий, определение которых как защищаемых прав собственности является предметом споров. Эти разногласия порождают конфликты, которые затем должны быть разрешены (государственными судами). Но без какой-либо защиты, гарантированной государством, капиталистическая система не может функционировать.

Работодатели действовали, и часто до сих пор действуют, так, как будто сфера, в которой они больше всего хотят, чтобы государство воздерживалось от установления правил, — это рабочее место. Их особенно волнуют все вопросы, касающиеся взаимоотношений между их сотрудниками: уровень заработной платы, условия труда, продолжительность рабочей недели, условия безопасности, а также методы найма и увольнения. Работники, с другой стороны, давно требуют вмешательства государства именно в эти вопросы, чтобы помочь им добиться, по их мнению, адекватных условий труда. Очевидно, что такое государственное вмешательство в краткосрочной перспективе, как правило, укрепляет позиции работников в конфликте с работодателями, и поэтому его одобрение является само собой разумеющимся. Но многие работодатели обнаружили, что государственное вмешательство может быть и полезным для них. Обеспечение предложения рабочей силы в долгосрочной перспективе, создание эффективного спроса и минимизация социальных волнений — все это может быть, отчасти, следствием такого государственного вмешательства на рынке труда. Следовательно, определенный уровень вмешательства может быть весьма желателен для работодателей (по крайней мере, для крупных работодателей и тех, кто работает на основе долгосрочной перспективы).

Один из менее известных способов, которым государство играет решающую роль для бизнеса, заключается в определении той части производственных издержек, которую фактически несут сами компании. Экономисты часто говорят об экстернализации издержек. Это означает, что определенная часть производственных издержек переносится с баланса фирмы на внешнюю, аморфную сущность: общество. Возможность экстернализации издержек может показаться противоречащей основной предпосылке капиталистической деятельности. Предполагается, что фирма производит продукцию для получения прибыли, и что прибыль представляет собой разницу между выручкой от продаж и производственными издержками. Таким образом, прибыль является вознаграждением за эффективное производство. Неявное предположение — и моральное оправдание прибыли — заключается в том, что производитель покрывает все издержки.

Однако на практике это не так. Прибыль — это вознаграждение не только за эффективность, но и за более широкий доступ к государственной помощи. Немногие производители могут позволить себе все производственные издержки. Существуют три типа издержек, которые часто в значительной степени перекладываются на внешних потребителей: издержки, связанные с токсичностью, издержки, связанные с истощением ресурсов, и транспортные издержки. Практически все производственные процессы

связаны с определенным уровнем токсичности — то есть, с каким-либо остаточным ущербом окружающей среде, будь то утилизация материалов или химических отходов, или просто долгосрочная трансформация экологической системы. Самый дешевый способ для производителя справиться с отходами — это отложить их за пределы своей территории. Самый дешевый способ справиться с трансформацией экологической системы — это сделать вид, что этого не происходит. Оба варианта снижают непосредственные производственные издержки. Но эти издержки затем перекладываются на внешних потребителей, поскольку либо немедленно, либо, как часто бывает, гораздо позже, кто-то другой оплачивает негативные последствия посредством надлежащей очистки или восстановления окружающей среды. Этим «кем-то» являются все остальные — налогоплательщики — через свой инструмент, государство.

Второй способ перекладывания издержек на внешние факторы — игнорирование истощения материальных ресурсов. В конечном счете, каждый производственный процесс использует некоторое сырье, органическое или неорганическое, в рамках процессов преобразования, в результате которых получается «конечный» товар, продаваемый на рынке. Сырье истощается: часть быстро, часть очень медленно, а большая часть — со средней скоростью. Опять же, затраты на замену почти никогда не являются частью внутренних издержек производства. Поэтому миру приходится либо отказаться от использования таких материалов, либо найти способ их заменить. Частично это достигается за счет инноваций, и можно утверждать, что в этом случае экономические издержки отказа от замены незначительны или равны нулю. Но во многих других случаях это невозможно, и тогда государству приходится снова вмешиваться в процесс восстановления или воссоздания материалов, и это, очевидно, оплачивается кем-то другим, а не тем, кто получил выгоду от прибыли. Хорошим примером материалов, которые не были адекватно заменены, является древесина. Леса Ирландии были вырублены в XVII веке. На протяжении всей истории современной мировой системы мы рубили леса всех видов, не восстанавливая их. Сегодня мы обсудим последствия отсутствия защиты для того, что считается последним оставшимся тропическим лесом в мире, — региона Амазонки в Бразилии.

Наконец, следует учитывать стоимость транспортировки. Хотя компании, как правило, платят определенную сумму за перевозку получаемых или отправляемых товаров, они редко покрывают полную стоимость. Создание необходимой транспортной инфраструктуры — мостов, каналов, железных дорог, аэропортов — представляет собой очень значительные затраты, и эти затраты, как правило, в значительной степени несут не компании, использующие инфраструктуру, а общественность. Обоснование заключается в том, что затраты настолько огромны, а выгода для компании настолько минимальна, что инфраструктура никогда бы не была построена без покрытия государством значительной части расходов. Это вполне может быть правдой, хотя и несколько преувеличено, но это свидетельствует о решающей роли государственного участия в неустанном процессе накопления капитала.

Мы уже проанализировали, как создание монополий или квазимонополий играет центральную роль в накоплении капитала. Нам достаточно помнить, что любое решение, позволяющее создать квазимонополию любого рода, независимо от её механизма, представляет собой преимущество для одних и недостаток для других. Здесь, как и везде, у государства нет нейтральной позиции, когда оно способствует накоплению капитала. Накопление капитала всегда является накоплением капитала конкретными лицами, компаниями или организациями. А конкуренция между капиталистами неизбежна в капиталистической системе.

В дискуссиях о государственном «вмешательстве» в дела бизнеса часто упоминаются налоги. Разумеется.

Но они не могли бы существовать без налогов. И мы видели, как важнейшим элементом в создании государственных структур было приобретение не полномочий, а реальной возможности собирать налоги. Говорят, никто не любит налоги. На самом деле верно и обратное утверждение, хотя очень немногие это признают. Все — и предприятия, и рабочие — хотят того, что государство может предоставить за счет денег, полученных государством посредством налогов. У людей есть две основные проблемы с налогами. Первая — это ощущение или подозрение, что государство использует налоги не для того, чтобы помочь честным налогоплательщикам, которыми мы все себя считаем, а для других (политиков, бюрократов, конкурирующих компаний, бедных и маргинализированных слоев населения и даже иностранцев). По этой причине мы хотим, чтобы налоги были ниже, и чтобы это злоупотребление налогами прекратилось. Вторая жалоба на налоги верна: облагаемые налогом деньги — это деньги, которые в противном случае были бы доступны каждому человеку для расходования по своему усмотрению. По сути, человек отказывается от контроля над этими деньгами в пользу коллективного органа, который решает, как их следует тратить.

На самом деле, большинство людей и большинство предприятий готовы платить налоги, чтобы обеспечить минимальный уровень услуг, который, по мнению каждого человека и каждого предприятия, отвечает их интересам. Но никто не готов платить налоги сверх этого уровня. Вопрос всегда заключается в том, где провести границу между законными и незаконными уровнями налогообложения. Поскольку у отдельных лиц и компаний разные интересы, они проводят эту границу по-разному. И поскольку, помимо размера налога, государство может и должно выбирать из множества способов налогообложения, люди и предприятия предпочитают методы, которые меньше всего затрагивают их, а больше всего — других. Неудивительно, что налогообложение является неизбежным, а налоговые споры — неотъемлемой частью современной политики. Государство не может быть нейтральным, но оно, безусловно, может оказать значительное влияние на выгоды, которые предприятия и частные лица получают от его налоговой политики.

Наконец, мы обсудили роль государства по отношению к бизнесу так, как если бы это был вопрос, ограниченный государственными границами. Но ясно, что на компании влияют решения не только их собственного государства, но и многих других государств, поскольку товары, капитал или персонал пересекают или уже пересекли государственные границы — процесс, который является постоянным и масштабным. Немногие компании могут оставаться равнодушными к государственной политике государства, отличного от их собственного, их места регистрации. Вопрос в том, как компании могут вести переговоры с этими другими государствами? И ответ состоит из двух частей: прямого и косвенного. Прямой путь заключается в том, чтобы вести себя так, как если бы они были зарегистрированы в другом государстве, и использовать все механизмы и аргументы, которые они использовали бы в своем (взятки, политическое давление, распределение выгод). Этого может быть достаточно, но часто «иностранная» фирма оказывается в значительно невыгодном положении на местной политической арене. Если «иностранная» компания имеет штаб-квартиру в «сильном» государстве, она может обратиться к своему собственному государству с просьбой использовать свою государственную власть для оказания давления на другую компанию, чтобы та удовлетворила потребности и требования бизнесменов более сильной страны. И, конечно же, этот процесс имеет центральное значение для жизни в системе межгосударственных отношений. В последней трети XX века американские

автопроизводители, производители стали и авиакомпании без колебаний обращались к правительству США с просьбой оказать давление на Японию и Западную Европу, чтобы те изменили свою политику таким образом, чтобы улучшить положение американских производителей и доступ некоторых американских авиакомпаний к правам на трансокеанские маршруты.

Подавляющее большинство населения государства составляют домохозяйства тех, кто работает на предприятиях и других организациях. Капиталистическая система предусматривает способ распределения произведенной прибавочной стоимости, и, очевидно, в любой момент времени баланс равен нулю. Наибольшая доля идет на накопление капитала, а наименьшая может быть использована для компенсации тем, кто трудился при производстве товаров, создавших прибавочную стоимость. Одна из основных реалий заключается в том, что это распределение прибавочной стоимости имеет определенные пределы (оно не может быть 100% в одном направлении и 0% в другом), но диапазон промежуточных возможностей огромен, особенно в краткосрочной перспективе и даже, в некоторой степени, в долгосрочной перспективе.

Из этого логически следует, что всегда будет вестись постоянная борьба за распределение этой прибавочной стоимости. Это то, что называется классовой борьбой. Какими бы ни были чувства по отношению к политике классовой борьбы, это неизбежная аналитическая категория, которую можно замаскировать на словах, но никогда нельзя игнорировать.

Совершенно очевидно, что в этой продолжающейся классовой борьбе (которая, несомненно, является сложным явлением, не имеющим простого бинарного распределения лояльностей) государство играет ключевую роль в перераспределении власти в ту или иную сторону. Поэтому обе фракции организуются политически, чтобы оказывать давление на государство, как в исполнительной, так и в законодательной ветвях власти. Если взглянуть на внутреннюю политику многих государств в долгосрочной перспективе на протяжении всей истории капиталистической мировой экономики, можно заметить, что потребовалось немало времени — несколько столетий — прежде чем рабочий класс смог достаточно организовать, чтобы играть в политическую игру с какой-либо эффективностью.

Несомненно, поворотным моментом стала Французская революция. Французская революция внесла два фундаментальных изменения, о которых мы уже упоминали, в геокультуру современной мировой системы: она превратила перемены, политические перемены, в «нормальное» явление, нечто присущее природе вещей и, более того, желательное. Это было политическим выражением теории прогресса, столь важной для идей Просвещения. И, во-вторых, Французская революция переориентировала концепцию суверенитета, сместив её от монарха или законодательной власти к народу. Как только гений народа как суверена был выпущен из бутылки, его уже невозможно было вернуть обратно. Он стал установленным критерием всей мировой системы.

Одним из главных следствий идеи о суверенитете народа стало то, что народ теперь определялся как «граждане». Сегодня это понятие настолько укоренилось, что нам трудно понять, насколько радикальным был этот переход от «подданных» к «гражданам». Быть гражданином означало иметь право участвовать на равных со всеми другими гражданами в принятии основополагающих решений государства. Быть гражданином означало, что не было лиц, чей статус был выше статуса граждан (например, аристократов). Быть гражданином означало, что каждый человек воспринимался как разумная личность, способная принимать политические решения. Логическим следствием концепции гражданина стало всеобщее избирательное право. И, как мы знаем, политическая история следующих 150 лет представляла собой неуклонное

расширение избирательных прав в разных странах. Сегодня практически каждая страна утверждает, что ее граждане равны и осуществляют свой суверенитет посредством системы всеобщего избирательного права. Проблема в том, что мы знаем, что на самом деле это не так. В большинстве стран лишь часть населения обладает всеми правами гражданства. Потому что если народы суверенны, то мы должны решить, кто входит в эту категорию людей, и, как оказалось, многие исключены. Есть некоторые исключения, которые кажутся «очевидными» большинству: те, кто являются всего лишь гостями в стране (иностранцы); те, кто слишком молод, чтобы сформировать собственное мнение; те, кто психически болен. Но как насчет женщин? Как насчет людей из этнических меньшинств? Как насчет тех, кто не является собственником? Как насчет тех, кто заключен в тюрьму как преступники? Как только начинаешь перечислять исключения из понятия «народ», список может стать довольно длинным. «Народ», который изначально был инклюзивным понятием, очень быстро превратился в понятие исключения.

В результате политика включения и исключения стала центральной в национальной политике на протяжении следующих двух столетий. Те, кто был исключен, стремились к включению, в то время как те, кто уже был включен, часто ограничивали критерии доступа к гражданским правам, тем самым сохраняя исключение. Это означало, что тем, кто стремился к включению, приходилось организовываться вне парламентских каналов, чтобы их голоса были услышаны. Проще говоря, им приходилось организовывать демонстрации, восстания, а иногда и революционные акции.

Это привело к масштабным стратегическим дебатам среди влиятельных лиц в начале XIX века. С одной стороны были те, кто, опасаясь, считал, что эти движения следует подавить (и отвергнуть идею народного суверенитета). Они называли себя консерваторами и прославляли «традиционные» институты — монархию, церковь, знать, семью — как оплоты против перемен. Но им противостояла другая группа, которая считала эту стратегию обреченной на провал и для которой ограничение масштабов и скорости перемен возможно только путем принятия неизбежности некоторых изменений. Эта группа называла себя либералами и прославляла образованного человека как образцового гражданина, а специалиста — как единственного, кто может мудро определять детали социальных и политических решений. Они утверждали, что все люди должны постепенно получать доступ ко всему спектру гражданских прав, когда их образование будет достаточным для принятия взвешенных решений. Принимая прогресс, либералы стремились сформулировать его определение таким образом, чтобы «опасные классы» стали менее опасными, а люди, обладающие «заслугами», могли занимать ключевые роли в политических, экономических и социальных институтах. Конечно, существовала и третья группа — радикалы, которые, как правило, объединялись вокруг антисистемных движений и во многих случаях становились их лидерами.

В этой триаде идеологий, возникшей в тени Французской революции — консерваторов, либералов и радикалов — именно центристским либералам удалось, по крайней мере на долгое время, контролировать мировую систему. Их программа поэтапных изменений применялась повсеместно, и они убеждали как консерваторов, так и радикалов скорректировать свои позиции таким образом, что на практике оба стали фактически воплощением центристского либерализма.

На политику этих движений влияла сила государств, в которых они развивались. Как известно, некоторые государства сильнее других. Но что значит быть внутренне сильным государством? Сила определяется не степенью произвола или злоупотребления центральной властью, хотя это распространенный критерий, используемый многими наблюдателями. Диктаторское поведение государственных властей часто является

признаком слабости, а не силы. Силу государств более целесообразно определять как способность обеспечивать исполнение законных решений. (Вспомним пример Людовика XIV и премьер-министра Швеции того времени.) Простым показателем, который можно использовать, является процент собранных налогов и масштабы налоговых полномочий. Уклонение от уплаты налогов действительно является пандемией. Но разница между тем, что могут собрать сильные государства (около 80%), и тем, что могут собрать слабые государства (около 20%), огромна. Самый низкий показатель объясняется слабой бюрократией и неспособностью собирать налоги, что, в свою очередь, лишает государство средств для укрепления своей бюрократии.

Чем слабее государство, тем меньше богатства можно накопить посредством экономической продуктивной деятельности. Следовательно, государственный аппарат становится основной, возможно, наиболее важной ареной накопления богатства (путем принуждения и подкупа, как на высоком, так и на низком уровнях). В сильных государствах это не происходит — хотя и происходит, — но в слабых государствах это становится предпочтительным способом накопления капитала, что, в свою очередь, снижает способность государства выполнять другие задачи. Когда государственный аппарат становится основным методом накопления капитала, любое ощущение регулярной передачи официальных должностей преемникам становится отдаленным, что приводит к фальсификации выборов (если выборы вообще проводятся) и ложным передачам власти, что, в свою очередь, требует усиления политической роли военных. Государства, теоретически, являются единственными законными пользователями насилия и должны обладать монополией на его применение. Полиция и армия являются основными инструментами этой монополии и, теоретически, всего лишь инструментами государственных властей. На практике эта монополия ослабевает; чем слабее государство, тем сильнее она ослабевает. В результате политическим лидерам очень трудно поддерживать эффективный контроль над страной, и, в свою очередь, соблазн для военных захватить прямой контроль над исполнительной властью возрастает всякий раз, когда режим оказывается неспособным гарантировать внутреннюю безопасность. Важно отметить, что эти явления являются результатом не ошибочной политики, а скорее эндемической слабости государственных структур в областях, где большинство производственных процессов являются периферийными и, следовательно, слабыми источниками накопления капитала. В государствах, обладающих высокодоходным сырьем на мировом рынке (например, нефтью), доход, доступный государству, по сути, представляет собой ренту, и здесь также фактический контроль над механизмами гарантирует, что большая часть этой ренты должна быть перенаправлена в частные руки. Поэтому не случайно такие государства часто оказываются в ситуациях, когда военные берут прямой контроль.

Наконец, необходимо отметить, в какой степени слабость трансформируется в относительную силу местных влиятельных лиц (бизнесменов, военачальников), способных осуществлять контроль над регионами государства посредством контроля над местными вооруженными силами в сочетании с какой-либо другой формой социальной легитимности (например, этнической принадлежностью, принадлежностью к традиционной семье или аристократическим рангом). В XX веке некоторые из этих местных властей были поглощены движениями, которые начинались как местные антисистемные движения, которые в ходе борьбы трансформировались в местные феодальные владения. Такие местные баронства, как правило, привлекают мафиозный аспект капиталистической деловой активности. Мафии, по сути, являются хищными животными, которые питаются производственным процессом. Когда существуют продукты, которые не монополизированы и не приносят большой прибыли конкретной

компаний, одним из способов накопления больших сумм капитала является создание монополистического канала, через который проходит производство, и создание его с помощью негосударственной силы. Мафиозные группировки печально известны своим участием в незаконной деятельности (например, в торговле наркотиками), но они также участвуют в легальных формах производственной деятельности. Капиталистическая деятельность в стиле мафии, очевидно, опасна и ставит под угрозу жизни самих мафиози. Поэтому исторически сложилось так, что, успешно накопив капитал, мафиози стремились (часто уже в следующем поколении) отмыть свои деньги и превращаться в легальных предпринимателей. Но там, где строгий правовой контроль ослабевает или ограничивается, всегда возникают новые мафиозные группировки.

Один из способов, с помощью которого государства пытаются укрепить свою власть и усилить себя, одновременно уменьшая роль организованной преступности, — это превращение своего населения в «нацию». Нации — это не более чем мифы в том смысле, что они являются социальными конструктами, и государства играют центральную роль в их создании. Процесс создания нации включает в себя установление (по большей части, выдумку) истории, длительной хронологии и предполагаемого набора определяющих характеристик (даже несмотря на то, что значительная часть населения не разделяет эти характеристики).

Рассмотрим концепцию «национального государства» как асимптоту, к которой стремятся все государства. Некоторые государства утверждают, что они не являются «многонациональными», но на самом деле даже эти государства стремятся создать общегосударственную идентичность. Хорошим примером является Советский Союз, который, будучи существующим, заявлял о своей многонациональности, но одновременно продвигал идею «советского» народа. То же самое верно для Швейцарии или Канады. Национализм — это групповая статусная идентичность, возможно, наиболее важная для поддержания современной мировой системы, которая в ее нынешнем виде основана на структуре суверенных государств, расположенных в рамках межгосударственной системы. Национализм служит минимальным связующим звеном государственных структур. При более внимательном рассмотрении национализм — это не просто феномен слабых государств. На самом деле он чрезвычайно силен в более богатых государствах, даже если его декларируют менее публично, чем в государствах, чья власть еще не укрепились. Ещё раз подчеркнём, что публичную пропаганду националистических идей государственными лидерами следует рассматривать как попытку консолидации государства, а не как доказательство его уже сильного положения. Исторически сложилось так, что у государств было три способа укрепления национализма: государственная система образования, военная служба и публичные церемонии. Все они постоянно используются.

Как мы уже подчеркивали, государства существуют в рамках межгосударственной системы, и их относительная сила определяется не только степенью их способности осуществлять свою власть внутри страны, но и степенью их способности поддерживать свое положение в конкурентной среде мировой системы. Все государства, теоретически, суверенны, но более сильным государствам легче вмешиваться во внутренние дела более слабых государств, чем наоборот, и это всем известно.

Более сильные государства объединяются с более слабыми, оказывая на них давление с целью сохранения открытых границ для потока факторов производства, полезных и выгодных для компаний, расположенных в этих государствах, одновременно сопротивляясь любым требованиям взаимности. В дискуссиях о глобальной торговле Соединенные Штаты и Европейский союз постоянно требуют от государств остального мира открыть свои границы для потока промышленных товаров и услуг, которыми они

обладают. Однако они с удивительной настойчивостью сопротивляются полному открытию своих границ для потока сельскохозяйственной или текстильной продукции, конкурирующей с их собственной продукцией из стран периферии. Сильные государства объединяются с более слабыми государствами, оказывая на них давление с целью разрешения назначения и удержания у власти лиц, которых сильные государства считают приемлемыми, и объединяя усилия с сильными государствами, чтобы заставить более слабые государства соответствовать политическим потребностям сильных. Сильные государства взаимодействуют с более слабыми государствами, оказывая на них давление с целью принятия культурных практик, включая языковую и образовательную политику, например, в отношении мест обучения студентов и распространения информации в СМИ, которые укрепляют долгосрочные связи между ними. Сильные государства взаимодействуют с более слабыми государствами, оказывая на них давление, чтобы те следовали их лидерству на международной арене (договоры, международные организации). И хотя сильные государства могут купить сотрудничество отдельных лидеров более слабых государств, более слабые государства, как государства, покупают защиту сильных государств, организуя соответствующий поток капитала.

Конечно, самые слабые государства — это те, которые мы называем колониями, определяя их как несuverенные административные единицы, находящиеся под юрисдикцией другого государства, обычно удаленного от них. Истоки современных колоний лежат в экономической экспансии мировой системы. В ходе этой экспансии сильные центральные государства пытались включить новые территории в процессы современной мировой системы. Иногда они сталкивались с бюрократическими структурами, достаточно сильными, чтобы считаться суверенными государствами, даже если они были недостаточно сильны, чтобы оставаться вне расширяющейся мировой системы. Но часто военные сильные государства (в основном расположенные в Западной Европе, но следует также включить Соединенные Штаты, Россию и Японию) находили территории, где политические структуры были слабы. Для обеспечения успешного включения таких территорий в мировую систему эти территории завоевывались, и в них устанавливались колониальные режимы.

Внутри колоний развивались те же функции, что и у суверенного государства: они гарантировали права собственности, принимали решения о пересечении границ, организовывали формы политического участия (почти всегда крайне ограниченные), принимали решения о рабочей силе и часто определяли, какие виды производства будут практиковаться или предпочтительнее в колонии. Но в действительности персонал, принимающий эти решения, в подавляющем большинстве случаев направлялся колониальной державой, а не отдельными лицами из местного населения. Колониальная держава оправдывала свою презумпцию власти и распределение функций между людьми из «метрополии» сочетанием «причин»: расистских аргументов о культурной неполноценности и неспособности местного населения, а также самооправдания относительно «цивилизаторской» функции, которую выполняла колониальная администрация.

Основная реальность заключалась в том, что колониальное государство было просто самым слабым типом государства в межгосударственной системе, обладавшим наименьшей степенью реальной автономии и, следовательно, крайне уязвимым для эксплуатации со стороны компаний и частных лиц другой страны — так называемой метрополии. Очевидно, что одной из целей колониальной власти было не только обеспечение контроля над производственными процессами в колонии, но и гарантия того, что ни одно другое относительно сильное государство в мировой системе не сможет

получить доступ к ресурсам или рынкам колонии, или, в лучшем случае, получит лишь минимальный доступ. Поэтому было неизбежно, что в какой-то момент произойдет политическая мобилизация колониального населения в форме национально-освободительных движений, целью которых можно было определить достижение независимости (то есть статуса суверенного государства) как первый шаг к улучшению относительного положения страны и ее населения в мировой экономике.

Однако, если мы сосредоточимся исключительно на взаимоотношениях между сильными и слабыми государствами, мы можем упустить из виду важнейшую связь между самими сильными государствами. Такие государства по определению являются соперниками, каждое из которых несет ответственность за различные группы конкурирующих предприятий. Но, как и в конкуренции между крупными корпорациями, конкуренция между сильными государствами смягчается противоречием. Хотя они участвуют в своего рода игре с нулевой суммой, их объединяет общий интерес в поддержании межгосударственной системы и современной мировой системы в целом. Поэтому участники одновременно тянутся в противоположных направлениях: к анархической межгосударственной системе и к скоординированной и согласованной. В результате, как и следовало ожидать, образуется ряд структур, находящихся где-то между этими двумя крайностями.

В этой противоречивой борьбе нельзя упускать из виду особую роль полупериферийных государств. Эти государства, обладающие средним уровнем силы, тратят значительные усилия, стремясь хотя бы сохранить свой средний статус, одновременно надеясь подняться по иерархической лестнице. Они сознательно используют государственную власть как внутри страны, так и на международной арене, чтобы повысить статус своего государства как производителя, как накопителя капитала и как военной силы. Их выбор в конечном итоге прост: либо им удастся подняться по иерархической лестнице (или хотя бы сохранить свои позиции), либо их оттеснят вниз.

Поэтому им необходимо быстро и тщательно выбирать союзников и экономические возможности. Полупериферийные государства в первую очередь конкурируют друг с другом. Если, например, на этапе В Кондратьева ранее ведущая отрасль меняет свою направленность, она, как правило, перемещается в полупериферийную страну. Но это не обязательно произойдет во все из них; возможно, только в одну или две. В общей производственной структуре системы недостаточно места для одновременного осуществления такого рода изменений (называемых «развитием») во многих странах. Определить заранее, какая из примерно пятнадцати стран станет местом такого изменения, непросто, и это даже не объясняется после принятия решения. Легко понять, что не все страны могут получить преимущество, поскольку выгоды резко и быстро снизятся.

Конкуренция между могущественными государствами и усилия полупериферийных государств по повышению своего статуса и могущества приводят к постоянному межгосударственному соперничеству, которое обычно принимает форму так называемого баланса сил. Это относится к ситуации, когда ни одно государство не может автоматически достичь своих целей на международной арене. Это не означает, что сильнейшие государства не стремятся к такой доле власти. Однако существуют два совершенно разных способа, которыми государство может попытаться стать доминирующим. Первый — это преобразование мировой экономики в мировую империю. Второй — это достижение гегемонии в мировой системе. Важно различать эти два подхода и понимать, почему ни одному государству не удалось превратить современную мировую систему в мировую империю; скорее, несколько государств достигли гегемонии в разное время.

Под мировой империей мы понимаем структуру, в которой существует единая политическая власть над всей мировой системой. За последние пятьсот лет было несколько попыток создать такую мировую империю. Первая — это империя Карла V в XVI веке (продолженная в уменьшенном виде его преемниками). Вторая — это империя Наполеона в начале XIX века. Третья — это империя Гитлера в середине XX века. Все они были грозными, все в конечном итоге потерпели поражение и все не смогли достичь своих целей.

С другой стороны, три державы достигли гегемонии, хотя и на относительно короткие периоды. Первой были Объединенные провинции (ныне Нидерланды) в середине XVII века. Второй — Соединенное Королевство в середине XIX века, а третьей — Соединенные Штаты в середине XX века. Назвать их гегемонистами нам позволяет тот факт, что в течение определенного периода они смогли установить правила игры в межгосударственной системе, доминировать в мировой экономике (в производстве, торговле и финансах), достигать своих политических целей с минимальным использованием военной силы (которой они обладали в избытке) и сформировать культурный язык, на котором обсуждался мир.

Здесь возникают два вопроса. Первый — почему трансформация мировой экономики в мировую империю так и не состоялась, в то время как достижение гегемонии стало возможным. Второй — почему гегемония не просуществовала долго. В некотором смысле, учитывая наш предыдущий анализ, ответить на эти вопросы не так уж сложно. Мы видели, что своеобразная структура мировой экономики (единое разделение труда, множество государственных структур, хотя и являющихся частью межгосударственной системы, и, конечно же, множество культур, хотя и объединенных геокультурой) в значительной степени соответствует потребностям капиталистической системы. Мировая империя, с другой стороны, фактически парализовала бы капитализм, поскольку она означала бы существование политической структуры, способной навязывать себя непрерывному накоплению капитала. Это, конечно, неоднократно происходило во всех мировых империях, существовавших до современной мировой системы. Таким образом, когда какое-либо государство, кажется, намерено превратить систему в мировую империю, оно в конечном итоге сталкивается с враждебностью со стороны крупнейших капиталистических предприятий мировой экономики. Как же тогда государства могут достичь гегемонии? Гегемония, в конце концов, может быть очень полезна для капиталистических предприятий, особенно если эти предприятия политически связаны с гегемонистской державой. Гегемония обычно происходит в тени длительных периодов относительного ухудшения мирового порядка в стиле «тридцатилетней войны»: то есть войн, в которых участвовали все основные экономические центры мировой системы и которые исторически противопоставляли альянс вокруг предполагаемого создателя мировой империи альянсу, сформированному вокруг предполагаемой гегемонистской державы. Гегемония создает своего рода стабильность, в рамках которой процветают капиталистические предприятия, особенно монополистические ведущие отрасли. Гегемония популярна среди рядовых граждан, потому что она, кажется, гарантирует не только порядок, но и процветающее будущее для всех.

Почему же тогда не постоянная гегемония? Как и в случае с квазимонополиями в производстве, квазиабсолютная власть гегемоний саморазрушительна. Чтобы стать гегемонистской державой, крайне важно сконцентрировать производственную эффективность, которая является основой гегемонистской роли. Для поддержания гегемонии гегемонистская держава должна перенаправлять ресурсы на политические и военные функции, что не только дорого, но и разрушительно. Рано или поздно, как

правило, раньше, другие государства начинают повышать свою экономическую эффективность до такой степени, что превосходство гегемонистской державы значительно уменьшается и в конечном итоге исчезает. Вместе с ним исчезает и политическое влияние. И теперь она вынуждена применять военную силу, а не просто угрожать этим, и применение военной силы является не только первым признаком ее слабости, но и источником ее будущего упадка. Применение «имперской» силы подрывает экономическую мощь как в экономическом, так и в политическом плане и, как правило, воспринимается как признак слабости, а не силы, как во внешнем, так и во внутреннем мире. Вместо того чтобы определять культурный язык мира, ослабевающая гегемонистская держава обнаруживает, что предпочитаемая ею лексика устарела и не сразу принимается.

Когда гегемонистская власть ослабевает, всегда находятся другие, пытающиеся её заменить. Но такие замены занимают много времени и в конечном итоге приводят к очередной «тридцатилетней войне». Поэтому гегемония имеет решающее значение, является повторяющейся и всегда относительно недолговечной. Капиталистической мировой экономике нужны государства, ей нужна межгосударственная система и периодическое появление гегемонистских держав. Но приоритетом капиталистов никогда не является поддержание, тем более прославление, какой-либо из этих структур. Приоритетом всегда является неустанное накопление капитала, и это лучше всего достигается в постоянно меняющемся ландшафте политических и культурных сфер, в рамках которых капиталистические предприятия могут маневрировать, получая поддержку от государств и стремясь при этом избежать их контроля.

4. СОЗДАНИЕ ГЕОКУЛЬТУРЫ: ИДЕОЛОГИИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Французская революция, как мы уже подчеркивали, стала поворотным моментом в культурной истории современной миросистемы, принесла два фундаментальных изменения, которые можно считать основой того, что стало геокультурой современной миросистемы: нормализацию политических перемен и переосмысление концепции суверенитета, теперь принадлежащего народу, который представлен «гражданами». И эта концепция, как мы уже говорили, хотя и считается всеобъемлющей, на практике исключает многих.

Политическая история современной мировой системы в XIX и XX веках стала историей дебатов о линии, разделяющей включенных и исключенных, но эти дебаты происходили в рамках геокультуры, провозглашавшей включение всех как определение справедливого общества. Эта политическая дилемма обсуждалась на трех разных аренах: идеологиях, антисистемных движениях и социальных науках. Эти арены кажутся разделенными. Они провозглашают свою обособленность. Но в действительности они тесно связаны. Рассмотрим каждую из них по очереди.

Идеология — это больше, чем набор идей или теорий. Это больше, чем моральное обязательство или мировоззрение. Это последовательная стратегия в социальной сфере, посредством которой можно сделать конкретные политические выводы. В этом смысле идеологии были не нужны в предыдущих мировых системах или даже в современной мировой системе, пока концепция нормальности изменений и роль гражданина как первостепенной ответственности за эти изменения не были приняты в качестве основных структур политических институтов. Идеологии предполагают существование конкурирующих групп с противоречащими друг другу долгосрочными стратегиями относительно того, как осуществить изменения и кто лучше всего подходит для их руководства. Идеологии зародились в тени Французской революции.

Первой сформировалась консервативная идеология. Это была идеология тех, кто считал Французскую революцию и её принципы социальной катастрофой. Почти сразу же были написаны основополагающие тексты: один — Эдмундом Берком в Англии в 1790 году, а затем целая серия — Жозефом де Местром во Франции. Оба автора ранее были умеренными реформаторами. Теперь же оба провозгласили ультраконсервативную идеологию как реакцию на то, что они считали опасной попыткой радикального вмешательства в базовую структуру общественного порядка.

Особую тревогу у них вызывал аргумент о бесконечной податливости общественного порядка, его безграничном потенциале для улучшения и о том, что политическое вмешательство может и должно ускорить перемены. Консерваторы считали такое вмешательство высокомерием, обладающим крайне опасными чертами. Их взгляды основывались на пессимистическом взгляде на моральные способности человечества; они находили фундаментальный оптимизм французских революционеров ложным и нетерпимым. Они полагали, что любые недостатки существующего общественного порядка в конечном итоге причинят меньше вреда, чем институты, которые будут созданы в результате такого высокомерия. После 1793 года и периода террора, в ходе которого французские революционеры отправили на гильотину других французских революционеров за то, что те были недостаточно революционными, консервативные идеологи склонны были формулировать свои взгляды таким образом, что революция как процесс почти неизбежно приводит к подобным периодам террора.

Таким образом, консерваторы были контрреволюционерами. Они были «реакционерами» в том смысле, что реагировали на радикальные изменения революции

и стремились «восстановить» то, что стали называть «старым режимом». Консерваторы не обязательно были полностью против любой эволюции обычаев и законов. Они просто проповедовали глубокую осторожность и настаивали на том, что принимать решения по таким изменениям должны только ответственные лица в рамках традиционных социальных институтов. Они особенно с подозрением относились к идее, что любой человек может быть гражданином — с равными правами и обязанностями, — поскольку, по их мнению, большинство людей не обладали и никогда не будут обладать необходимым суждением для принятия важных социально-политических решений. Вместо этого они возлагали свои надежды на политическую иерархию и религиозные структуры. Конечно, на самые важные из них, но в определенном смысле еще больше на местные структуры: ведущие семьи, «сообщество», любую структуру, находящуюся под контролем влиятельных лиц. И они возлагали свои надежды на семью, то есть на патриархальную и иерархическую семейную структуру. Вера в иерархию (как в неизбежный и желательный факт) — отличительная черта консерватизма.

Политическая стратегия была ясна: восстановить и поддерживать авторитет этих традиционных институтов и подчиниться их диктату. Если результатом станут очень медленные политические изменения или их полное отсутствие, пусть так и будет. И если эти институты решат осуществить медленный эволюционный процесс, пусть так и будет. Уважение к иерархии, по мнению консерваторов, было единственной гарантией порядка. Консерваторы ненавидели демократию, потому что для них она означала конец уважения к иерархии. Более того, они с подозрением относились к неограниченному доступу к образованию, которое, по их мнению, должно быть зарезервировано для подготовки правящего класса. Консерваторы считали, что разрыв между способностями высшего и низшего классов не только непреодолим, но и является фундаментальной частью человеческой природы, а следовательно, божественным замыслом.

Французская революция, в узком смысле этого слова, просуществовала недолго. Она трансформировалась в режим Наполеона Бонапарта, который направил свои универсалистские убеждения и миссионерский пыл на французскую имперскую экспансию, оправдывая это революционным наследием. В политическом плане консервативная идеология набирала силу повсюду после 1794 года и, предположительно, пришла к власти после поражения Наполеона в 1815 году в Европе, где господствовал Священный Союз. Те, кто считал, что любое возвращение к старому режиму нежелательно и невозможно, должны были перегруппироваться и разработать контр-идеологию. Эта контр-идеология стала известна как либерализм.

Либералы стремились дистанцироваться от любых ассоциаций с эпохой террора, но при этом сохранить, как им казалось, основополагающий дух Французской революции. Они настаивали на том, что перемены не только нормальны, но и неизбежны, поскольку они жили в мире постоянного прогресса на пути к справедливому обществу. Они признавали, что поспешные перемены могут быть, и действительно были, контрпродуктивными, но настаивали на том, что традиционные иерархии неустойчивы и в корне нелегитимны. Лозунгом Французской революции, который им больше всего нравился, был «карьера, открытая для талантов», идея, более известная сегодня через такие фразы, как «равные возможности» и «меритократия». Именно вокруг таких лозунгов либералы строили свою идеологию. Либералы проводили различие между различными типами иерархии. Они не были против того, что считали естественными иерархиями; они были против унаследованных иерархий. Они утверждали, что естественные иерархии не только естественны, но и приемлемы для масс населения и, следовательно, являются легитимной и узаконенной основой власти, в то время как унаследованные иерархии делают социальную мобильность невозможной.

В отличие от консерваторов, составлявших «Партию порядка», либералы позиционировали себя как «Партия движения». Меняющиеся обстоятельства требовали постоянной реформы институтов. Но соответствующие социальные изменения должны были происходить естественным образом (то есть, не слишком медленно и не слишком быстро). Вопрос, который ставили перед собой либералы, заключался в том, кто должен взять на себя руководство во время таких необходимых реформ. Они не доверяли традиционным иерархиям, будь то национальным или местным, клерикальным или светским. Но они также с подозрением относились к народным массам, плебеям, считая их по сути необразованными и, следовательно, иррациональными.

Это означало, заключили либералы, что только одна группа способна взять на себя ответственность за принятие решений о необходимых изменениях: специалисты. Специалисты, по определению, понимали реалии изучаемой ими области и, следовательно, были лучше всего подготовлены к формулированию необходимых и желательных реформ. Благодаря своей подготовке специалисты, как правило, были осмотрительными и проницательными. Они учитывали как возможности, так и риски изменений. Поскольку каждый образованный человек был специалистом в чем-то, следовало, что все, кому было позволено выполнять роль граждан, должны были быть образованными людьми и, следовательно, специалистами. Другие лица могли быть допущены к этой роли позже, после получения соответствующего образования, которое позволило бы им присоединиться к обществу образованных и рациональных людей.

Но какое именно образование? Либералы утверждали, что образование должно сместить акцент с «традиционных» форм знаний — того, что мы сейчас называем гуманитарными науками, — на единственную теоретическую основу практических знаний: науку. Наука (заменяющая не только теологию, но и философию) предлагала путь к материальному и технологическому прогрессу, а следовательно, и к моральному прогрессу. Из всех типов специалистов ученые представляли собой вершину интеллектуального труда, высшее благо. Только политические лидеры, которые основывали непосредственные программы на научных знаниях, были надежными проводниками к будущему благополучию. Как видно, либерализм был умеренной идеологией, когда дело касалось социальных изменений. Фактически, он всегда подчеркивал свою умеренность, свой «центризм» на политической арене. Примерно в 1950 году американский либерал Артур Шлезингер-младший написал книгу о либерализме, которую он назвал «Жизненно важный центр».

В первой половине XIX века идеологическая обстановка представляла собой фундаментальный конфликт между консерваторами и либералами. Не существовало ни одной влиятельной группы, которая бы по-настоящему придерживалась более радикальной идеологии. Те, кто склонялся к радикализму, часто ассоциировали себя с либеральными движениями как с мелкими ответвлениями или стремились создать небольшие группы несогласных. Они называли себя демократами, радикалами или иногда социалистами. Очевидно, что они не питали симпатии к консервативной идеологии. Но они обнаружили, что либералы, хотя и принимали нормальность перемен и поддерживали (по крайней мере, в теории) концепцию гражданства, были крайне робкими и на самом деле весьма боялись любых фундаментальных изменений.

«Мировая революция» 1848 года преобразовала идеологический ландшафт из ситуации с двумя идеологическими соперниками (консерваторы против либералов) в ситуацию с тремя: консерваторами справа, либералами в центре и радикалами слева. Что произошло в 1848 году? По сути, две вещи. С одной стороны, произошла первая настоящая «социальная революция» современной эпохи. На короткий период движение, поддерживаемое городскими рабочими, казалось, набрало силу во Франции, и это

движение нашло отклик в других странах. Политическое превосходство этой группы продлилось недолго. Но это стало ужасающим тревожным сигналом для тех, кто обладал властью и привилегиями. В то же время происходила другая революция, или серия революций, которые историки называли «Весной народов». В ряде стран произошла серия национальных или националистических восстаний. Они также были подавлены и в равной степени напугали тех, кто находился у власти. Это сочетание положило начало схеме, в рамках которой мировая система будет функционировать в течение следующих ста пятидесяти лет и даже дольше: антисистемные движения как ключевые политические акторы.

Мировая революция 1848 года была внезапным всплеском, который быстро погас, за которым последовали годы глубоких репрессий. Но революция подняла множество вопросов о стратегии — то есть об идеологии. Консерваторы извлекли из этих событий ясный урок. Они увидели, что слепая реакционная тактика князя Меттерниха, который сорок лет служил государственным министром Австро-Венгрии (фактически, министром иностранных дел) и был движущей силой Священного союза, призванного подавить европейские революционные движения, и всех тех, кто к нему присоединился, была контрпродуктивной. В долгосрочной перспективе их тактика не способствовала ни сохранению традиций, ни обеспечению порядка. Напротив, она провоцировала гнев, негодование и подрывные организации, тем самым подрывая порядок. Консерваторы поняли, что единственной страной, избежавшей революции в 1848 году, была Англия, несмотря на то, что в предшествующее десятилетие она пережила самое значительное радикальное движение в Европе. Секрет, по-видимому, заключался в модели консерватизма, проповедуемой и практикуемой на этой территории в период с 1820 по 1850 год сэром Робертом Пилом, которая состояла в своевременных (но ограниченных) уступках, призванных в долгосрочной перспективе подорвать привлекательность радикальных действий. В течение следующих двух десятилетий тактика Пила получила распространение в Европе, став известной как «просвещенный консерватизм», который процветал не только в Англии, но и во Франции и Германии.

Тем временем радикалы сделали стратегические выводы из своих неудач в революциях 1848 года. Они больше не хотели играть роль придатка к либералам. Но спонтанность, которая была важным ресурсом для радикалов до 1848 года, оказалась непреодолимой. Спонтанное насилие было подобно броску листа бумаги в огонь. Огонь поднимется, но так же быстро погаснет. Такое насилие не было долговечным топливом. Некоторые радикалы до 1848 года предлагали альтернативу: создание утопических сообществ, которые бы отошли от социальной сферы. Но этот проект не пользовался популярностью у большинства людей и оказал меньшее влияние на общую историческую систему, чем спонтанные восстания. Радикалы искали эффективную альтернативную стратегию, и они нашли ее в организации — долгосрочной, систематической организации, которая политически подготовила бы почву для фундаментальных социальных изменений.

Наконец, либералы также извлекли уроки из революций 1848 года. Они поняли, что недостаточно просто проповедовать преимущества доверия к специалистам в осуществлении социальных изменений в нужное время и разумным образом. Им нужно было активно действовать на политической арене, чтобы обеспечить эффективное представление проблем специалистам. А для них это означало борьбу как со своими консервативными соперниками, так и с новыми и появляющимися радикальными противниками. Если либералы хотели представить себя политическим центром, им нужно было работать с программой, которая была «центристской» по своим требованиям, и с набором тактических приемов, которые ставили их где-то посередине

между консервативным сопротивлением любым изменениям и радикальным настаиванием на скорейших реформах.

В период между 1848 годом и Первой мировой войной четко обозначилась либеральная программа для стран-основателей современной мировой системы. Эти страны стремились утвердиться в качестве «либеральных государств» — то есть государств, основанных на концепции гражданства, ряде гарантий против произвола властей и определенной степени открытости в общественной жизни. Разработанная либералами программа имела три центральных аспекта: постепенное расширение избирательного права и, одновременно с этим и важнейшее для этого, расширение доступа к образованию; усиление роли государства в защите своих граждан от опасностей на рабочем месте; расширение медицинского страхования и доступа к нему; и минимизация колебаний доходов на протяжении всего жизненного цикла, тем самым превращая граждан государства в «нацию». При более внимательном рассмотрении эти три элемента представляют собой воплощение девиза «свобода, равенство и братство» в государственной политике.

В отношении этой либеральной программы следует учитывать два основных момента. Во-первых, к моменту Первой мировой войны она была в значительной степени реализована, по крайней мере, в общеевропейском мире. Во-вторых, либеральные партии не всегда были теми, кто в наибольшей степени способствовал реализации программы. Любопытно, что либеральная программа в основном воплощалась в жизнь другими, а не самими либералами, в результате переоценки стратегий трех идеологий, произошедшей после революций 1848 года. Либералы, как правило, отступали, не решаясь на реализацию собственной программы. Консерваторы, со своей стороны, решили, что либеральная программа скромна и в целом разумна. Они начали законодательно её реализовывать: расширение избирательного права Дизраэли, легализация профсоюзов Наполеоном III, создание Бисмарком государства всеобщего благосостояния. А радикалы начали принимать эти ограниченные реформы, даже выступать за них, одновременно создавая свою организационную базу для будущего доступа к государственной власти.

Сочетание этих трех тактических сдвигов, осуществленных тремя идеологическими группами, привело к тому, что либеральная программа фактически стала общей определяющей характеристикой геокультуры, а консерваторы и радикалы превратились в простые варианты или воплощения либералов, с которыми их различия стали скорее маргинальными, чем фундаментальными. Именно в третьем столпе — «братстве» — мы можем наблюдать прочное слияние трех идеологических позиций.

Как создается нация? Указывая на то, как гражданство исключает тех, кто находится за ее пределами, нацию создают, проповедуя национализм. В XIX веке национализм преподавался через три основных института: начальные школы, армию и национальные праздники.

Начальные школы были любимцами либералов, приветствовались радикалами и терпелись консерваторами. Они превращали рабочих и крестьян в граждан, обладающих минимальными навыками, необходимыми для выполнения своих национальных обязанностей: знаменитой триадой чтения, письма и арифметики. Школы учили гражданским добродетелям, устраняя партикуляризм и предрассудки семейных структур. И прежде всего, они учили национальному языку. В начале XIX века лишь немногие европейские страны имели единый национальный язык на практике. К концу века большинство стран его приобрели.

Национализм укрепляется через враждебность по отношению к врагам. Большинство государств центральной Европы стремятся привить эту враждебность какому-либо соседу, на какой бы то ни было основе. Но существует и другая, в конечном

счете, более важная форма враждебности: враждебность панъевропейского мира по отношению к остальному миру, враждебность, институционализированная как расизм. Она проявилась в распространении концепции «цивилизации» в единственном, а не во множественном числе. Панъевропейский мир, экономический и политический доминатор мировой системы, определял себя как сердце, кульминацию цивилизационного процесса, который можно проследить до предполагаемых европейских корней в античности. Учитывая состояние своей цивилизации и технологий в XIX веке, панъевропейский мир утверждал, что он должен навязывать себя, как в культурном, так и в политическом плане, всем остальным: «иге белого человека» Киплинга, «явное предназначение» Соединенных Штатов, «цивилизаторская миссия» Франции.

XIX век стал веком возрожденного, прямого империализма, с одной дополнительной деталью. Имперские завоевания перестали быть просто действием государства или даже действием государства, поощряемым церквями. Они стали страстью нации, обязанностью ее граждан. И именно эта последняя часть либеральной программы была с энтузиазмом воспринята консерваторами, которые видели в ней надежный способ подавления классовых разногласий и, таким образом, обеспечения внутреннего порядка.

Когда в 1914 году практически все европейские социалистические партии решили встать на сторону националистических фракций во время войны, стало ясно, что консервативный анализ влияния национализма на бывшие опасные классы был верен.

Триумф либерализма в определении геокультуры современной мировой системы в XIX и большей части XX веков стал возможен институционально благодаря развитию основ либерального государства. Но он также стал возможен благодаря подъему и росту антисистемных движений. Это может показаться парадоксальным, поскольку антисистемные движения существуют, в принципе, для того, чтобы подорвать систему, а не для того, чтобы ее поддерживать. Однако деятельность этих движений в совокупности значительно укрепила систему. Анализ этого кажущегося парадокса имеет решающее значение для понимания того, как капиталистическая мировая экономика — постоянно растущая как в размерах, так и в богатстве, и одновременно испытывающая поляризацию своих благ — поддерживала эту систему.

Внутри государств попытки различных групп добиться включения в гражданскую жизнь были центральным направлением антисистемных движений — то есть организаций, стремящихся к фундаментальным изменениям в общественном порядке. В некотором смысле, они стремились реализовать идеалы свободы, равенства и братства способом, отличным от либерального. Первой исключенной группой, создавшей значимые организации, стал городской промышленный рабочий класс, известный как пролетариат. Эта группа была сосредоточена в нескольких городских центрах, и ее члены имели легкий доступ друг к другу. Когда они начали организовываться, условия труда и заработная плата были явно плохими. И эти рабочие играли ключевую роль в важнейших производственных видах деятельности, создающих прибавочную стоимость.

Примерно в середине XIX века начали формироваться рабочие организации (профсоюзы) и политические организации (социалистические и рабочие партии), сначала в крупных центрах промышленного производства (Западная Европа и Северная Америка), а затем и в других регионах. На протяжении большей части XIX и большей части XX веков государственные структуры и предприятия враждебно относились к этим организациям. Общепринятым считалось, что классовая борьба разворачивается на неравных условиях, где «общественные движения» ведут трудную борьбу за последовательные и относительно небольшие уступки.

В этой модели молчаливой политической борьбы присутствовал еще один элемент, который возвращает нас к обсуждению домохозяйств, статусных и идентичностных групп. Социальное движение определяло свою борьбу как борьбу рабочих против капиталистов. Но кто были эти рабочие? На практике их обычно определяли как взрослых мужчин из доминирующей этнической группы данной страны. В основном это были квалифицированные или полуквалифицированные рабочие с некоторым образованием, и они составляли основную часть мировой промышленной рабочей силы в XIX веке. Те, кто был «исключен» из этой категории, понимали, что, поскольку у них было очень мало места в социалистических/рабочих организациях, им приходилось организовываться в категории статусных групп (женщины, с одной стороны, и расовые, религиозные, языковые и этнические группы, с другой). Эти группы часто были антисистемными, как и рабочие и социалистические движения, но они определяли свои требования существенно по-разному.

Однако, организуясь таким образом, они вступали в конкуренцию с классовыми рабочими организациями и часто противостояли им. С 1830 по 1970 год история взаимоотношений между этими двумя типами антисистемных движений характеризовалась большой напряженностью, даже враждебностью, с редкими, в лучшем случае, всплесками сочувствия и сотрудничества. Более того, в этот период различным статусным и идентичностным групповым организациям было так же трудно сотрудничать друг с другом, как и с рабочими и социалистическими организациями.

По мере того, как эти организации, объединяющие людей по статусу и идентичности, определяли свои долгосрочные цели (и многие из них не обсуждали это), их среднесрочные задачи сходились вокруг вопроса о распространении гражданских прав на исключенные группы. Все они сталкивались, по меньшей мере, с сопротивлением, а зачастую и с активной враждебностью, к своим предложениям о включении в рамки полноправных граждан либерального государства. Перед ними стояли два фундаментальных стратегических вопроса. Первый заключался в определении наиболее эффективной среднесрочной стратегии. Второй — в том, какие союзы должен создавать каждый тип антисистемного движения со своими единомышленниками. Ни один из этих вопросов не мог быть решен легко или просто.

Исключенные группы сталкивались с очевидными и неотложными трудностями в своей политической организации. Закон часто ограничивал их право на организацию различными способами. Потенциальные члены, по большей части, были слабы по отдельности с точки зрения своей доли власти. В совокупности (или, по большей части, по отдельности) они не имели значительного доступа к источникам финансирования. Основные институты различных государств, как правило, враждебно относились к их усилиям. Поэтому группы легко подвергались притеснениям. Короче говоря, процесс организации был долгим и медленным, и большую часть этого времени они просто пытались остаться на плаву как организации.

Фундаментальная дискуссия касалась вопроса о том, что важнее для угнетенных групп: самоизменение или изменение угнетающих их институтов. Иногда это выражалось в разнице между культурной и политической стратегией. Например, для националистической группы важнее возродить умирающий национальный язык или избрать представителей своей группы в законодательные органы? Для рабочего движения важнее отвергнуть легитимность всех государств (анархизм) или преобразовать существующие государства? Внутренняя борьба внутри движений по вопросам стратегии была ожесточенной, постоянной, глубоко раскольнической и страстно поддерживалась их участниками.

Кстати, эти два подхода не были взаимоисключающими, но многие считали, что они ведут в совершенно разные стратегические направления. В случае культурного варианта, если его можно так назвать, политические изменения рассматривались как поверхностные и кооптационные, подрывающие лежащие в их основе радикальные или антисистемные цели. Существовал также социально-психологический аргумент: система держала людей в плену, организуя их психику, и что разрушение социализации этой психики являлось необходимым условием для социальных изменений. Аргумент в пользу политического варианта заключался в том, что сторонники культурного варианта были невинными жертвами иллюзий, поскольку они предполагали, что власть имущие позволят им осуществить те глубокие культурные изменения, которые они себе представляли. Те, кто выступал за политический вариант, всегда подчеркивали реальность власти и настаивали на том, что преобразование властных отношений, а не изменение психики угнетенных, является необходимым условием для любых реальных изменений.

Исторически сложилось так, что после тридцати-пятидесяти лет как дружеских, так и ожесточенных дебатов сторонники политического варианта одержали победу во внутренней борьбе всех антисистемных движений. Постоянное подавление деятельности движений обоих направлений со стороны власть имущих сделало культурные варианты во всем их многообразии нежизнеспособными для антисистемных движений. Все больше людей обращались к «воинственности», и все больше воинствующих посвящали себя «хорошей организации», и это сочетание могло быть эффективно реализовано только группами, выбравшими политический вариант. В начале XX века можно было сказать не только о триумфе политического варианта в дебатах о стратегии, но и о том, что антисистемные движения договорились — каждый вариант отдельно, но параллельно — о двухэтапном плане действий: во-первых, обретение государственной власти; во-вторых, трансформация мира/государства/общества.

Конечно, в этой двухэтапной стратегии сохранялась глубокая неопределенность. Первый вопрос заключался в том, что значит получить государственную власть и как этого можно достичь. (Вопрос о том, как преобразовать мир/государство/общество, обсуждался реже, возможно, потому что он воспринимался как вопрос о будущем, а не о настоящем.) Например, достигалась ли государственная власть путем расширения избирательного права? Путем участия в выборах, а затем и в правительстве? Предполагало ли это разделение власти или захват власти у других? Требовались ли изменения государственных структур или просто контроль над существующими? Ни на один из этих вопросов не было дано полного ответа, и большинство организаций выживали лучше всего, когда позволяли сторонникам различных, а иногда и противоречивых позиций оставаться в своих рядах.

Даже после того, как двухэтапный план действий стал центральным элементом организационной деятельности, внутренние дебаты не прекратились. Тогда встал вопрос: как можно захватить контроль над государственным аппаратом? Классические дебаты развернулись между Вторым и Третьим Интернационалами, дебаты, начавшиеся ранее, в рамках социал-демократических партий. Их часто, хотя и ошибочно, представляли как дебаты между реформизмом и революционной деятельностью. Когда Эдуард Бернштейн призывал немецкую социал-демократическую партию придерживаться его «ревизионизма», что он утверждал? По сути, ядро его аргумента включало в себя ряд последовательных предпосылок: большинство населения составлял «рабочий класс», то есть промышленные рабочие и их семьи. Всеобщее (мужское) избирательное право сделало бы всех рабочих полноправными гражданами. Рабочие

могли бы голосовать в соответствии со своими интересами, что означало поддержку социал-демократической партии. Следовательно, как только всеобщее мужское избирательное право будет установлено, рабочие приведут социал-демократическую партию к власти. Придя к власти, социал-демократы примут законы, необходимые для преобразования страны в социалистическое общество. Каждая из этих последовательных посылок казалась логичной. Каждая из этих посылок оказалась ложной.

Революционная позиция была иной. Ее классическая формулировка, предложенная Лениным, заключалась в том, что во многих странах пролетариат не составлял большинство населения. Во многих странах не существовало свободных избирательных процессов, а если бы они и существовали, буржуазия не уважала бы результаты голосования, если бы пролетариат попытался проголосовать за их приход к власти. Буржуазия просто не позволила бы этого. Революционеры предложили ряд контрпредпосылок: городской пролетариат был единственным прогрессивным историческим актором. Даже городские пролетарии, не говоря уже об остальном населении (например, сельские рабочие), не всегда были в согласии со своими собственными интересами. Боевики в рабочих партиях могли определить интересы городского пролетариата более четко, чем средний пролетарий, и могли побудить рабочих понять свои собственные интересы. Эти боевики могли тайно организовываться и захватывать власть посредством восстания, которое обеспечило бы им поддержку городского пролетариата. Затем они могли установить «диктатуру пролетариата» и превратить страну в социалистическое общество. Каждая из этих последовательных посылок казалась логичной. Каждая из этих посылок оказалась ложной.

Одной из главных проблем антисистемных движений конца XIX и большей части XX веков была их неспособность найти общий язык. В каждом из этих движений преобладало мнение, что проблемы, сформулированные их сторонниками, являются основополагающими, в то время как проблемы других движений второстепенны и служат отвлекающим фактором. Каждое движение настаивало на том, что сначала следует решать его собственные проблемы. Каждое утверждало, что успешное решение его проблем создаст ситуацию, в которой впоследствии и последовательно можно будет решить другие проблемы.

Мы видим это в сложных взаимоотношениях между рабочим и социалистическим движениями и женским движением. Позиция профсоюзов по отношению к женскому движению сводилась к тому, что трудоустройство женщин являлось механизмом, используемым работодателями для получения дешевой рабочей силы, и, следовательно, представляло угрозу интересам рабочего класса. Большинство городских рабочих в XIX и большей части XX веков верили в социальную модель, в которой замужние женщины были бы домохозяйками, оставаясь вне рынка труда. Вместо доступа женщин к рынку труда профсоюзы боролись за так называемую «семейную заработную плату» — то есть заработную плату, достаточную для того, чтобы мужчина-промышленный рабочий мог содержать себя, свою жену и своих маленьких детей.

Социалистические партии во многих случаях больше сомневались в роли женских организаций. За исключением женских групп, которые определяли себя как секции социалистических партий и чьей целью была организация жен и дочерей членов партии в образовательных целях, женские организации считались буржуазными, поскольку их руководство часто выходило из рядов буржуазных женщин, а их цели воспринимались в лучшем случае как второстепенные интересы рабочего класса. Что касается избирательного права для женщин, то, хотя теоретически социалистические партии выступали за него, на практике они были глубоко скептически настроены. Они считали,

что женщины из рабочего класса будут менее склонны, чем мужчины, голосовать за социалистические партии из-за влияния религиозных организаций, враждебно настроенных к социалистическим партиям.

Женские организации отвечали взаимностью. Они рассматривали рабочих и социалистические движения как виновников патриархальных взглядов и политики, против которых боролись. Женщины из среднего класса в суфражистских организациях часто утверждали, что они более образованы, чем мужчины из рабочего класса, и что, согласно либеральной логике, им следует в первую очередь предоставить полные гражданские права, чего исторически не было в большинстве стран. Право на наследование, управление деньгами, заключение договоров и в целом право действовать как независимые личности в глазах закона, как правило, имели гораздо большее значение для семей, владеющих собственностью. А женские кампании против социальных проблем (алкоголизм, насилие над женщинами и детьми) и за контроль над собственным телом часто были направлены более непосредственно против мужчин из рабочего класса, чем против мужчин из среднего класса.

Взаимоотношения между рабочими/социальными движениями и этническими/националистическими движениями демонстрировали схожие трудности. Внутри стран рабочие движения рассматривали любые этнические движения как механизмы, с помощью которых можно разделить рабочий класс. Требования включения угнетенных этнических и расовых групп в рынок труда встречали тот же отклик, что и требования женщин. По сути, их рассматривали как служащие интересам работодателей, предоставляя дешевую рабочую силу. Многие профсоюзы стремились исключить такие «меньшинства» из рынка труда — не полностью, но, безусловно, из высокооплачиваемых сегментов, которые традиционно были зарезервированы для работников доминирующей этнической группы. Стремление исключить меньшинства также усиливало противодействие иммиграции из регионов, которые могли бы увеличить или укрепить ряды этих меньшинств. Оно даже усиливало противодействие (или, по крайней мере, нежелание) попыткам ликвидации различных видов принудительного труда, поскольку это позволило бы таким освобожденным работникам конкурировать на свободном рынке труда.

Вновь антагонизм усиливался, когда речь шла о рабочем/общественном движении и его отношениях с чисто националистическим движением, стремящимся к отделению от государства, в котором это движение зародилось. Это было справедливо как для региона той же страны, так и для заморской колониальной территории, контролируемой этим государством. По сути, рабочее/общественное движение утверждало, что национальная «независимость» не принесет никакой пользы рабочему классу отделившейся страны. Она могла даже оказаться контрпродуктивной, если бы у старой «имперской» власти был законодательный орган или структура власти, менее враждебные интересам рабочих, чем предполагаемая «независимая» власть. В любом случае, социалистические партии, как правило, настаивали на том, что все буржуазные государства равны и что единственный важный вопрос заключается в том, придет ли рабочий класс к власти в том или ином государстве. Таким образом, национализм был иллюзией и отвлекающим маневром.

Здесь националистические движения тоже ответили тем же. Они утверждали, что национальное угнетение реально, непосредственно и всеобъемлюще. Они утверждали, что любая попытка реализовать рабочие интересы приведет к разделению «народа» и, следовательно, к ослаблению его усилий по обеспечению своих прав как нации. Они утверждали, что если и существуют какие-либо конкретные проблемы, касающиеся рабочего класса, то их лучше всего решить в рамках независимого государства. И

действительно, выдвинутые ими культурные требования (например, касающиеся языка) совпадали с прямыми интересами рабочего класса в стране, которую националистическое движение пыталось создать, и гораздо чаще выражались с использованием предлагаемого национального языка, чем официального языка политической структуры, против которой восставали националисты.

Наконец, отношения между женскими организациями и этническими/националистическими группами были ничуть не лучше. Обе стороны использовали одни и те же аргументы. С одной стороны, женские организации утверждали, что они ничего не выигрывают от расширения гражданских прав меньшинств или от достижения национальной независимости. Но они также часто указывали на то, что образованные женщины из среднего класса были лишены права голоса, в то время как практически неграмотные меньшинства или мужчины-иммигранты получили его. В случае национальной независимости они утверждали, что у женщин в новом государстве не больше шансов получить гражданские права, чем в старом. И снова антагонизм всплыл на поверхность. Этнические/националистические движения рассматривали женские движения как представляющие интересы угнетающей группы — доминирующей этнической группы в стране, имперской власти на колониальных территориях. Они считали вопрос о правах женщин второстепенным и тем, что его можно решить после решения их собственных проблем.

Дело не в отсутствии отдельных лиц (и даже групп), пытавшихся преодолеть эти противоречия и сохранить фундаментальную синергию различных движений. Эти люди стремились объединить борьбу и в отдельных случаях добивались в этом определенных успехов. Однако общая ситуация с 1848 года по крайней мере до 1945 года была такова, что эти объединяющие силы мало влияли на общую структуру антисистемных движений. Три основных варианта этих движений — это 1) рабочие/социальные движения, 2) этнические/националистические движения и 3) женские группы, и они оставались по существу незыблемыми на своих позициях, каждое боролось за свою собственную программу и игнорировало или даже противостояло другим. С другой стороны, в удивительной степени, несмотря на отсутствие координации (не говоря уже о сотрудничестве), стратегии различных типов движений оказались параллельными. Длительная история этих движений такова, что к концу XX века все они достигли своей главной цели — формальной интеграции в гражданское общество, — и ни одно из них не достигло своей второстепенной цели — использования контроля над государством для преобразования общества. К этой истории мы еще вернемся.

С разработанными и ограниченными идеологиями, а также с антисистемными движениями, направляющими энергию недовольства, для обеспечения эффективности геокультуры оставался лишь её теоретический аппарат. В этом заключалась роль социальных наук. Мы уже рассказывали о возникновении двух культур в первой главе. Теперь давайте кратко изложим эту историю как феномен зарождающейся геокультуры.

Социальные науки — это термин, появившийся в XIX веке. Термины «наука» и «социальная» требуют пояснения. Почему именно наука? В XIX веке наука была ключом к достижению прогресса, общепринятой общей цели мировой системы. Сегодня это может показаться незначительным. Но в то время, как мы видели, это представляло собой фундаментальный сдвиг в доминирующей системе ценностей мира знаний: от христианского искупления к идеалу Просвещения о человеческом прогрессе. Возникший в результате так называемый разрыв между философией и наукой, позже названный «двумя культурами», привёл к эпистемологическим дебатам о том, как мы познаём то, что знаем.

В XIX веке в рамках структур знания (особенно в недавно возрожденной университетской системе) и в более общем смысле в мире культуры ученые начали приобретать превосходство над философами и гуманистами. Ученые утверждали, что только они, и никто другой, могут постичь истину. Они заявляли, что как ученые, они совершенно не заинтересованы в добре или красоте, поскольку эти понятия не поддаются эмпирической проверке. Поиск добра и красоты они оставили гуманистам, которые, как правило, были готовы искать там прибежище, в общих чертах перенимая строки Китса: «Красота — это истина; истина, красота — вот и все, что вы можете знать об этой земле и обо всем, что вам нужно знать». В некотором смысле, гуманисты уступили контроль над поиском истины ученым. И в любом случае, концепция двух культур впервые в истории человечества привела к радикальному разделению в мире знания между истиной, добром и красотой.

В то время как ученые сосредоточили свои исследования на материальных явлениях, а гуманисты — на изучении творческих произведений, стало очевидно, что существует важная область, место которой в этом разделении неясно. Это была сфера социальной деятельности. Но Французская революция сделала знание социальной сферы центральной задачей государственных органов. Если политические изменения должны были стать нормой, а народ — суверенным, то понимание правил, по которым формировалась социальная сфера и как она функционировала, имело огромное значение. Стремление к такому знанию получило название социальных наук. Социальные науки зародились в XIX веке и сразу же стали ареной как политической конфронтации, так и борьбы между учеными и гуманистами за присвоение этой области своих методологий познания. Для тех, кто находился на государственной арене (государства и капиталистические предприятия), контроль над социальными науками означал, в некотором смысле, возможность контролировать будущее. А для тех, кто находился внутри структур знания, как ученые, так и гуманисты рассматривали эту область как важное дополнение в своей не очень братской борьбе за контроль над властью и за интеллектуальное превосходство в университетских системах.

Как мы уже отмечали, во второй половине XIX и первой половине XX веков шесть дисциплин были признаны занимающимися изучением социальной реальности: история, экономика, политология, социология, антропология и востоковедение. Логика, лежащая в основе этих шести дисциплин, и, следовательно, разделение труда в изучении социальной реальности, проистекала из общей социальной ситуации XIX века. Существовали три разделительные линии. Первая — между изучением «цивилизованного» западного мира и изучением несовременного мира. Второе различие, внутри западного мира, заключалось в изучении прошлого и изучении настоящего. И третье различие существовало внутри западного настоящего, которое либеральная идеология определила как охватывающее три различные области цивилизованной и современной социальной жизни: рынок, государство и гражданское общество. В эпистемологическом плане социальные науки в совокупности занимали положение между естественными и гуманитарными науками и, таким образом, оказались вовлечены в эпистемологическую борьбу между этими двумя культурами. На самом деле происходило следующее: три основные дисциплины западного мира (экономика, политология и социология) были в значительной степени перенесены в научную сферу и рассматривались как номотетические дисциплины. Три другие дисциплины — история, антропология и востоковедение — сопротивлялись этому соблазну и, как правило, считались гуманитарными или идиографическими дисциплинами.

Четкое разделение труда лежало в основе определенной структуры мировой системы: мира, в котором доминировал Запад, а «остальные» состояли либо из колоний,

либо из полуколоний. Когда это предположение перестало быть верным, по сути, после 1945 года, границы стали казаться менее очевидными и менее полезными, чем до этого момента, и разделение труда начало распадаться. История того, что произошло с социальными науками, а также с антисистемными идеологиями и движениями, — это история влияния глобальной революции 1968 года на мировую систему, то есть на тот момент, которого мы достигли.

В контексте геокультуры, сформированной в зеркале трех идеологий и парадоксальным образом поддерживаемой теми самыми антисистемными движениями, созданными для противостояния ей, функция социальных наук заключалась в том, чтобы обеспечить интеллектуальные основы для моральных обоснований, используемых для укрепления функционирующих механизмов современной миросистемы. В этой задаче они в целом преуспевали, по крайней мере, до глобальной революции 1968 года.

5. СОВРЕМЕННАЯ МИРОВАЯ СИСТЕМА В КРИЗИСЕ: БИФУРКАЦИЯ, ХАОС И ВАРИАНТЫ

Мы говорили, что исторические системы живут. Они возникают в определенный момент времени и пространства, по причинам и способами, которые мы можем проанализировать. Если они переживают муки рождения, то продолжают свою историческую жизнь в рамках структур, которые их составляют, следуя их циклическим ритмам и находясь в плену их вековых тенденций. Эти вековые тенденции неизбежно приближаются к асимптотам, которые значительно усугубляют внутренние противоречия системы: то есть система сталкивается с проблемами, которые она не может решить, и это вызывает то, что мы можем назвать системным кризисом. Часто люди используют термин «кризис» вскользь, просто для обозначения периода трудностей в жизни системы. Но когда трудность может быть каким-то образом разрешена, нет никакого истинного кризиса, а есть лишь трудность, созданная внутри системы. Истинные кризисы — это те трудности, которые не могут быть разрешены в рамках системы, но должны быть разрешены вне и за пределами исторической системы, частью которой эти трудности являются. Используя технический язык естественных наук, происходит следующее: система разветвляется; то есть, система обнаруживает, что её основные уравнения могут быть решены двумя совершенно разными способами. Проще говоря, система сталкивается с двумя альтернативными решениями кризиса, оба из которых по своей сути возможны. Фактически, члены системы коллективно призваны сделать исторический выбор относительно того, какой из альтернативных путей следует выбрать — то есть, какую новую систему следует построить.

Поскольку существующая система больше не может адекватно функционировать в рамках заданных параметров, неизбежно принятие решения о том, как отказаться от системы, о будущей системе (или системах), которые будут построены. Но какой вариант участники выберут коллективно, по своей сути непредсказуем. Процесс бифуркации носит хаотический характер, а это значит, что каждое небольшое действие, предпринятое в этот период, вероятно, будет иметь значительные последствия. Мы наблюдаем, что в таких условиях система имеет тенденцию резко колебаться. Но в конечном итоге она склоняется в одном направлении. Обычно проходит довольно много времени, прежде чем будет сделан окончательный выбор. Мы можем назвать это переходным периодом, исход которого неопределён. Однако в какой-то момент появляется ясный результат, и мы, наконец, оказываемся погруженными в новую историческую систему.

Современная мировая система, в которой мы живем, система капиталистической мировой экономики, находится именно в таком кризисе, и находится в нем уже некоторое время. Этот кризис может продлиться еще двадцать пять-пятьдесят лет. Поскольку одной из центральных характеристик таких переходных периодов является то, что мы сталкиваемся с резкими потрясениями во всех структурах и процессах, которые мы привыкли считать неотъемлемыми частями существующей мировой системы, мы обнаруживаем, что наши краткосрочные ожидания неизбежно нестабильны. Эта нестабильность может порождать значительную тревогу и, следовательно, насилие, поскольку люди пытаются сохранить приобретенные привилегии и иерархический ранг в крайне нестабильной ситуации. В целом, этот процесс может привести к социальным конфликтам, которые могут принимать довольно неприятную форму.

Когда начался этот кризис? Зарождение любого явления всегда является самым спорным вопросом в научном дискурсе. Предшественники и предзнаменования почти всего можно найти как в недавнем прошлом, так и в далеком. Возможной отправной

точкой для истории современного системного кризиса является глобальная революция 1968 года, которая значительно потрясла структуры мировой системы. Эта глобальная революция ознаменовала конец длительного периода либерального господства, тем самым разрушив геокультуру, которая поддерживала целостность политических институтов мировой системы. А разрушение этой геокультуры пошатнуло основы капиталистической мировой экономики и подвергло ее воздействию политических и культурных потрясений, которым она всегда была подвержена, но от которых ранее была частично защищена.

Однако влияние событий 1968 года, к которому мы должны вернуться, недостаточно для объяснения кризиса в системе. Должны были возникнуть структурные тенденции, которые начали достигать своих асимптот, что сделало невозможным преодоление повторяющихся трудностей, с которыми сталкивается любая система в своих ритмических циклах. Только когда мы поймем, в чем заключаются эти тенденции и почему повторяющиеся трудности больше не могут быть легко решены, мы сможем понять, почему и как события 1968 года ускорили крах геокультуры, которая поддерживала единство системы.

В своем неустанном стремлении к накоплению капитала капиталисты постоянно искали способы повышения отпускных цен на свою продукцию и снижения производственных издержек. Однако производители не могут произвольно повышать цены на свою продукцию до любого уровня. Их ограничивают два фактора. Первый — это наличие конкурентов. Именно поэтому формирование олигополий так важно, поскольку оно сокращает количество альтернативных продавцов. Второй — это эффективный уровень спроса — сколько денег есть у всех покупателей — и выбор, который делают потребители, учитывая их ограниченную покупательную способность.

Уровень эффективного спроса в первую очередь зависит от распределения доходов. Очевидно, что чем больше денег у каждого покупателя, тем больше он может купить. Этот простой факт создает для капиталистов неотъемлемую и постоянную дилемму. С одной стороны, они стремятся максимизировать свою прибыль и, следовательно, минимизировать объем прибавочной стоимости, получаемой другими, например, их работниками. С другой стороны, по крайней мере некоторые капиталисты должны допускать перераспределение созданной прибавочной стоимости, иначе покупателей на их продукцию будет очень мало. Поэтому, по крайней мере периодически, некоторые производители вынуждены стимулировать повышение заработной платы своим работникам, чтобы создать более эффективный спрос.

При заданном уровне эффективного спроса в любой момент времени потребительские решения основываются на том, что экономисты называют эластичностью спроса. Это относится к ценности, которую каждый покупатель придает альтернативным способам использования своих денег. Покупки, с точки зрения покупателя, варьируются от необходимых до совершенно необязательных. Эти оценки являются результатом взаимодействия индивидуальной психологии, культурного давления и физиологических потребностей. Маркетологи могут оказывать лишь ограниченное влияние на эластичность спроса, хотя реклама (в самом широком смысле) как раз и призвана влиять на потребительский выбор.

В конечном итоге, для продавца это означает, что он никогда не сможет поднять цены до уровня, при котором а) конкуренты смогут продавать дешевле, б) у покупателей не будет денег на покупку товара или в) покупатели не захотят тратить на эту покупку такие большие деньги. Учитывая неявный потолок уровня продажных цен, производители, как правило, тратят большую часть своих усилий по накоплению капитала на поиск новых способов снижения производственных затрат. Чтобы понять,

что происходит в современной мировой системе, нам необходимо изучить, почему производственные затраты во всем мире растут с течением времени, несмотря на усилия всех производителей, фактически сокращая разрыв между производственными затратами и потенциальными продажными ценами. Другими словами, нам нужно понять, почему снизилась средняя мировая прибыль.

Для любого производителя существуют три основных вида производственных издержек. Производитель должен платить зарплату сотрудникам своей компании. Производитель должен закупать ресурсы для производственного процесса. И производитель должен платить налоги, взимаемые каждым государственным органом, имеющим на это право, в течение конкретного производственного процесса. По очереди мы должны рассмотреть каждую из этих трех статей издержек и, в частности, понять, почему они неуклонно росли на протяжении длительного периода существования капиталистической мировой экономики.

Как работодатель решает, сколько платить своим сотрудникам? Могут существовать законы, устанавливающие минимальную заработную плату. И, конечно же, повсеместно существуют общепринятые ставки заработной платы, хотя они постоянно пересматриваются. В основном, работодатель должен предложить сумму, которая почти всегда ниже той, которую хотел бы получать работник. Производитель и работник ведут переговоры по этому вопросу; они постоянно и неоднократно спорят об этом. Исход этих переговоров, или борьбы, зависит от экономической, политической и культурной силы каждой из сторон.

В процессе переговоров сотрудники могут укрепить свои позиции, если их обучение не стандартизировано. Уровень заработной платы всегда определяется соотношением спроса и предложения. В качестве альтернативы, сотрудники могут укрепить свои позиции, организуясь коллективно и участвуя в профсоюзной деятельности. Это относится не только к производственным рабочим (как квалифицированным, так и неквалифицированным), но и к административному персоналу (как руководителям высшего звена, так и менеджерам среднего звена). Это внутренний аспект экономической мощи каждой производственной компании. Существует также и внешний аспект. Общее состояние экономики, как на местном, так и на международном уровне, определяет уровень безработицы и, следовательно, насколько отчаянно каждый сегмент производственного подразделения стремится достичь соглашения по заработной плате.

Политическая власть проистекает из сочетания политического механизма и механизмов внутри государственной структуры, силы профсоюзов и степени необходимости для работодателей заручиться поддержкой менеджеров и среднего звена управления, чтобы сдерживать требования рядовых работников. А то, что мы называем культурной властью — параметры местного и национального сообщества — часто является продуктом вышеупомянутой политической власти.

В целом, в любом производственном секторе профсоюзная сила рабочих со временем имеет тенденцию к росту благодаря организации и просвещению. Для ограничения влияния такой организации могут применяться репрессивные меры, но это повлечет за собой дополнительные издержки, например, повышение налогов, увеличение заработной платы руководителей или необходимость найма и оплаты труда репрессивного персонала. Если же рассмотреть наиболее прибыльные производственные площадки — олигополистические фирмы в передовых секторах — то здесь проявляется еще один фактор: высокоприбыльные фирмы не хотят терять производительное время из-за недовольства рабочих. В результате затраты на оплату труда в таких фирмах со временем имеют тенденцию к росту, но рано или поздно эти же

производственные подразделения столкнутся с усилением конкуренции и, следовательно, будут вынуждены ограничивать рост цен, что приведет к снижению рентабельности.

Существует лишь одна значимая мера противодействия постоянно растущим затратам на заработную плату: «перемещение завода». Перемещая заводы в места с гораздо более низкими производственными затратами, работодатель не только снижает затраты на заработную плату, но и получает политическое влияние в районе, где частично размещается завод, поскольку существующие работники могут быть готовы согласиться на более низкую заработную плату, чтобы предотвратить дальнейшие потери рабочих мест. Конечно, для работодателя есть и обратная сторона медали. Если бы их не было, производственные площадки были бы перемещены гораздо раньше. Это затраты на переезд. А в других регионах транзакционные издержки, как правило, выше — из-за большего расстояния до потенциальных покупателей, менее развитой инфраструктуры и более высоких издержек «коррупции» — то есть, незадекларированных выплат лицам, не являющимся сотрудниками.

Баланс между затратами на оплату труда и транзакционными издержками носит циклический характер. Транзакционные издержки, как правило, являются первостепенным фактором в периоды экономического подъема (фазы А по Кондратьеву), в то время как затраты на оплату труда являются первостепенным фактором в периоды экономической стагнации (фазы В). Тем не менее, возникает вопрос, почему существуют регионы с более низкими заработными платами. Причина этого связана с численностью неурбанизированного населения в данной стране или регионе. Там, где сельское население велико, значительное число людей частично или даже полностью находится вне системы наемного труда. Или же изменения в землепользовании в сельской местности вынуждают население мигрировать. Для таких людей возможность трудоустройства в городах представляет собой значительное увеличение общего дохода домохозяйства, к которому они принадлежат, даже если заработная плата значительно ниже мировых стандартов. Таким образом, по крайней мере на начальном этапе, вступление таких людей в рабочую силу является взаимовыгодной ситуацией: снижение производственных затрат для работодателя и повышение доходов для работников. Заработная плата там ниже не только для неквалифицированных рабочих, но и для менеджеров. Как правило, в периферийных районах затраты ниже, ресурсов меньше, и, следовательно, заработная плата руководителей там ниже, чем в центральных районах.

Проблема в том, что политическая власть работодателей и работников не является неизменной. Она развивается. Если изначально работники, недавно переехавшие в город, испытывают трудности с адаптацией к городской жизни и не осознают свой потенциальный политический вес, то это состояние не длится вечно. Безусловно, примерно через двадцать пять лет работники или их потомки адаптируются к реальности своего нового положения и осознают низкую заработную плату по сравнению с международными стандартами. Реакцией становится участие в профсоюзной деятельности. Затем работодатель вновь обнаруживает условия, от которых его компания стремилась избавиться, перенося свои производственные мощности. В конечном итоге, в период будущей экономической депрессии, производитель может снова использовать тактику «перенесенного завода».

Однако со временем число областей в капиталистической мировой экономике, где можно было бы реализовать это конкретное решение проблемы роста заработной платы, сократилось. Мир прошел процесс декрестьянизации, во многом именно благодаря этому методу контроля над затратами на заработную плату путем переноса производственных

процессов. Во второй половине XX века произошло радикальное сокращение доли населения мира, проживающего в сельской местности. А первая половина XXI века грозит ликвидировать оставшиеся сельские территории с сельской концентрацией. Когда не останется мест, куда можно было бы перенести заводы, больше не будет возможности существенно снизить уровень заработной платы для работников во всем мире.

Постоянный рост уровня заработной платы — не единственная проблема, с которой сталкиваются производители. Вторая — это стоимость ресурсов. Под ресурсами я подразумеваю оборудование и производственные материалы (независимо от того, называются ли они сырьем, полуфабрикатами или готовой продукцией). Производители, конечно, приобретают их на рынке и платят за них положенную цену. Но есть три скрытых издержки, которые производители не обязательно оплачивают. Это затраты на утилизацию отходов (особенно токсичных материалов), затраты на обновление сырья и так называемые инфраструктурные издержки. Существует множество способов избежать этих издержек, и неуплата их является важным способом поддержания низких затрат на ресурсы.

Основной способ минимизировать затраты на утилизацию отходов — это их сброс, то есть размещение отходов в общественных местах без обработки или с минимальной обработкой. При работе с токсичными материалами, помимо накопления, возникают вредные последствия для экосферы. В какой-то момент последствия накопления и вредное воздействие будут восприниматься как социальная проблема, и сообщество будет вынуждено с ними столкнуться. Но накопление отходов и его вредное воздействие ведут себя примерно так же, как и нехватка близлежащих сельских территорий. Производитель всегда может переехать в новый район, тем самым устранив проблему, пока новые «чистые» территории не будут исчерпаны. В глобальном масштабе именно это происходит в капиталистической мировой экономике. Только во второй половине XX века потенциальное истощение мест для накопления отходов начало восприниматься как социальная проблема.

Параллельно существует проблема возобновления запасов сырья. Покупателей сырья, как правило, не интересует его долгосрочная доступность. А продавцы, как ни странно, готовы подчинить долгосрочную доступность краткосрочной прибыли. За пятьсот лет это привело к последовательному истощению и росту стоимости добычи таких ресурсов. Эти тенденции лишь частично изменились благодаря технологическому прогрессу в создании альтернативных ресурсов.

Эти два вида истощения — пространство для отходов и природные ресурсы — стали предметом пристального внимания крупных экологических и «зеленых» движений в последние десятилетия, которые стремятся к государственному вмешательству для удовлетворения коллективных потребностей. Но для удовлетворения этих потребностей нужны деньги, большие деньги. Кто за все это заплатит? Существуют только две реалистичные возможности: государство, посредством налогов, и производители, использующие сырье. В той мере, в которой производители вынуждены оплачивать эти издержки — то, что экономисты называют интернализацией издержек — их производственные затраты будут расти.

Наконец, существует проблема инфраструктуры — термин, обозначающий все физические объекты за пределами производственного подразделения, которые являются необходимой частью процессов производства и распределения: дороги, транспортные услуги, сети связи, системы безопасности и водоснабжение. Они дорогостоящи, и их стоимость постоянно растет. И снова вопрос: кто оплачивает счет? Либо население, через налоги, либо участвующие фирмы, через увеличение затрат. Следует отметить, что при приватизации инфраструктуры в конечном итоге оплачивают

расходы участвующие фирмы (даже если другие компании получают прибыль от эксплуатации инфраструктуры, и даже если частные лица платят более высокую цену за собственное потребление).

Стремление к интернализации издержек приводит к значительному увеличению производственных затрат для компаний обрабатывающей промышленности, которые со временем опережают преимущества в плане снижения издержек, обеспечиваемые технологиями. При этом интернализация издержек игнорирует растущую проблему, с которой сталкиваются эти фирмы в результате штрафов, налагаемых судами и законодательными органами за ущерб, причиненный по неосторожности.

Третья статья расходов, которая со временем увеличивается, — это налогообложение. Налоги являются фундаментальным элементом социальной организации. Налоги того или иного рода существовали и будут существовать всегда. Но кто платит и в каком размере — это предмет постоянной политической борьбы. В современной мировой системе существует две основные причины налогового бремени. Одна из них — обеспечение государственных структур средствами для предоставления услуг безопасности (армии и полиции), строительства инфраструктуры и использования бюрократии для предоставления государственных услуг и сбора налогов. Эти расходы неизбежны, хотя, очевидно, могут существовать значительные разногласия относительно того, на что и как следует тратить деньги.

Однако существует и вторая, более современная причина налогообложения (она получила значительное развитие лишь в прошлом веке). Эта вторая причина связана с политической демократизацией, которая привела к требованиям граждан о предоставлении государством трех основных благ, которые стали восприниматься как права: образование, здравоохранение и гарантированный доход на протяжении всей жизни. Когда эти блага впервые были предоставлены в XIX веке, государственные расходы были ограничены и существовали лишь в немногих странах. На протяжении XX века определение того, что должно предоставлять государство, и число государств, предоставляющих это, неуклонно росли в каждой из этих областей. Сегодня кажется практически невозможным сократить расходы до прежнего уровня.

В результате роста затрат (не только в абсолютном выражении, но и в процентном отношении к мировому профициту) на обеспечение безопасности, строительство инфраструктуры и предоставление гражданам льгот в сфере образования, здравоохранения и пожизненной гарантии независимости, налоговая нагрузка как часть общих затрат неуклонно растет для всех производственных предприятий и будет продолжать расти.

То есть, три производственных издержки — заработная плата, затраты и налоги — неуклонно росли на протяжении последних пятисот лет, и особенно в последние пятьдесят. Между тем, цены продаж не успевали за ростом спроса, несмотря на фактическое увеличение спроса, из-за постоянного расширения числа производителей и повторяющейся неспособности поддерживать олигополистические условия. Другими словами, прибыль снизилась. Более того, производители постоянно стремятся изменить эти условия, и именно это они пытаются сделать сегодня. Чтобы оценить пределы их возможностей в этом отношении, мы должны вернуться к культурному влиянию 1968 года.

Мировая экономика в годы после 1945 года пережила величайшее расширение производственных структур в истории современной мировой системы. Все упомянутые нами структурные тенденции — затраты на заработную плату, затраты на ресурсы, налогообложение — двигались по крутой восходящей кривой. В то же время антисистемные движения, которые мы обсуждали, добились необычайного прогресса в

достижении своих непосредственных целей: получения доступа к власти в государственных структурах. Во всем мире эти движения, казалось, достигли первого из двух этапов своего проекта. На обширной территории от Северной Европы до Центральной Азии (от Эльбы до Ялу) у власти находились коммунистические партии. В общеевропейском мире (Западная Европа, Северная Америка и Австралия) власть принадлежала социал-демократическим партиям (или их эквивалентам), или, по крайней мере, они поочередно находились у власти. В остальной части Азии и большей части Африки к власти пришли национально-освободительные движения. А в Латинской Америке контроль взяли на себя националистические/популистские движения.

Таким образом, годы после 1945 года были периодом большого оптимизма. Экономическое будущее выглядело многообещающим, и народные движения всех мастей, казалось, достигали своих целей. А во Вьетнаме небольшая страна, борющаяся за свою независимость, с трудом сдерживала гегемонистскую державу, Соединенные Штаты. Современная мировая система никогда не казалась столь привлекательной столь многим людям, и это чувство оказывало одновременно волнующее и очень стабилизирующее воздействие.

Однако существовало глубокое разочарование в самих движениях, особенно в сфере власти. Второй шаг двухступенчатой формулы — изменение мира — на практике оказался гораздо дальше от реализации, чем предполагало большинство людей. Несмотря на общий экономический рост мировой системы, разрыв между центром и периферией увеличился как никогда. И несмотря на приход к власти антисистемных движений, огромный энтузиазм, проявившийся в период мобилизации, казалось, угас, как только эти движения получили власть в том или ином государстве. Возникли новые привилегированные слои. Теперь от обычных людей требовали не выдвигать воинственных требований к системе правления, которая, как им было гарантировано, представляла их интересы. По мере того как будущее становилось настоящим, многие бывшие ярые активисты движений начали переосмысливать свои идеи и в конце концов стали выражать несогласие.

Сочетание давнего недовольства функционированием мировой системы и разочарования в способности антисистемных движений преобразовывать мир привело к глобальной революции 1968 года. Вызовы 1968 года содержали две темы, которые повторялись практически повсюду, независимо от местного контекста. Первая — это неприятие гегемонистской власти Соединенных Штатов в сочетании с недовольством Советским Союзом, предполагаемым противником США, который, как казалось, был замешан в мировом порядке, установленном Соединенными Штатами. Вторая — это то, что традиционные антисистемные движения не выполнили своих обещаний после прихода к власти. Сочетание этих двух давних недовольств представляло собой культурное землетрясение. Множество восстаний казалось фениксом, восстающим из пепла, и не смогло привести к власти многочисленных революционеров 1968 года, по крайней мере, ненадолго. Но они узаконили и укрепили чувство разочарования не только в старых антисистемных движениях, но и в государственных структурах, которые эти движения укрепили. Долгосрочная уверенность в эволюционной надежде трансформировалась в страх перед неизменностью мировой системы.

Этот сдвиг в настроениях населения мира, вместо того чтобы укрепить существующее положение вещей, лишил капиталистическую мировую экономику политической и культурной поддержки. Угнетенные слои населения больше не были уверены, что история на их стороне. Они больше не могли довольствоваться постепенными улучшениями, веря, что они принесут плоды их детям и внукам. Их больше нельзя было убедить отложить нынешние обиды во имя благоприятного

будущего. Короче говоря, многие производители капиталистической мировой системы потеряли главный скрытый стабилизатор системы: оптимизм угнетенных. И эта потеря пришла в самый неподходящий момент, как раз когда начали остро ощущаться спады прибыли.

Культурные последствия 1968 года дестабилизировали автоматическое доминирование либерального центра, господствовавшее в мировой системе со времен предыдущей глобальной революции 1848 года. Правые и левые освободились от своей роли олицетворения центристского либерализма и смогли утвердить, или, скорее, подтвердить свои более радикальные ценности. Мировая система вступила в переходный период, и как правые, так и левые были полны решимости воспользоваться царящим хаосом, чтобы обеспечить преобладание своих ценностей в новой системе (или системах), которая в конечном итоге возникнет из кризиса.

Непосредственные последствия глобальной революции 1968 года, казалось, легитимизировали левые ценности, особенно в отношении вопросов расы и гендера. Расизм был распространенной чертой современной мировой системы на протяжении всего ее существования. Его легитимность, безусловно, оспаривалась на протяжении двух столетий. Но только после глобальной революции 1968 года широкомасштабная кампания против расизма — возглавляемая самими угнетенными группами, в отличие от предыдущих кампаний, в основном проводимых либералами, занимающими доминирующие слои населения, — стала центральным явлением на мировой политической арене. Эта кампания приняла форму как активной воинственности «меньшинств» в движениях за идентичность по всему миру, так и попыток переформатировать мир знаний, выводя проблемы, вытекающие из хронического расизма, на передний план интеллектуального дискурса.

Наряду с дискуссией о расизме, трудно игнорировать центральную роль сексуальности в глобальной революции 1968 года. Будь то политика, связанная с гендером, или сексуальные предпочтения, и в конечном итоге трансгендерная идентичность, влияние 1968 года заключалось в том, что он вывел на первый план медленную трансформацию сексуального поведения, происходившую в течение предыдущего полувека, и позволил ей вырваться на мировую социальную арену, имея огромные последствия для права, обычаев, религий и интеллектуальных дискурсов.

Традиционные антисистемные движения в основном акцентировали внимание на вопросах государственной власти и экономических структур. Обе эти темы отошли на второй план в воинственной риторике 1968 года на фоне растущей роли расы и сексуальности. Это создало реальную проблему для глобальных правых. Геополитические и экономические вопросы были для глобальных правых проще, чем социокультурные. Это объяснялось тем, что центристские либералы, будучи враждебно настроены к любому демонтажу основных политических и экономических институтов капиталистической мировой экономики, были скрытыми, если не воинственными, сторонниками социально-политических изменений, за которые выступали активисты революций 1968 года (и последующих). В результате реакция после 1968 года была разделена: с одной стороны, истеблишмент стремился восстановить порядок и решить некоторые непосредственные проблемы, возникшие в результате сокращения прибыли; с другой — более ограниченная, но гораздо более активная культурная контрреволюция. Важно различать эти два вопроса и, следовательно, два типа стратегических союзов.

Тем временем, когда мировая экономика вступила в затяжную фазу Кондратьева, коалиция правоцентристских сил попыталась обратить вспять рост производственных издержек в трех ее компонентах. Они стремились снизить уровень заработной платы, переложить издержки на потребителей и снизить налоги для финансирования

социального государства (образование, здравоохранение и поддержка доходов). Это наступление принимало различные формы. Центр отказался от темы развития (как средства преодоления глобальной поляризации) и заменил ее темой глобализации, которая, по сути, требовала открытия всех границ для свободного перемещения товаров и капитала (но не рабочей силы). Режим Тэтчер в Соединенном Королевстве и режим Рейгана в Соединенных Штатах возглавили продвижение этой политики, которая в теории называлась «неолиберализмом», а на практике — «Вашингтонским консенсусом». Всемирный экономический форум в Давосе стал площадкой для продвижения теории, а Международный валютный фонд (МВФ) и недавно созданная Всемирная торговая организация (ВТО) стали главными исполнителями Вашингтонского консенсуса.

Экономические трудности, с которыми столкнулись все правительства с 1970 года (особенно в странах Глобального Юга и бывшем коммунистическом блоке), чрезвычайно затруднили для этих государств, управляемых бывшими антисистемными движениями, сопротивление давлению «структурной перестройки» и открытых границ. В результате было достигнуто ограниченное снижение глобальных производственных издержек, но успех оказался намного меньше, чем надеялись сторонники такой политики, и значительно ниже того, что было необходимо для остановки падения рентабельности. Капиталисты все чаще стремились увеличить свою прибыль в сфере финансовых спекуляций, а не в производстве. Такие финансовые манипуляции могут принести значительную выгоду некоторым участникам рынка, но они дестабилизируют мировую экономику и подвергают ее колебаниям валютных курсов и уровня занятости. Это, по сути, один из признаков нарастающего хаоса.

В мире политики глобальные левые политические силы отодвинули свои избирательные цели на второй план и вместо этого начали организовывать «движение движений», отождествляемое с Всемирным социальным форумом (ВСФ), который первоначально проводился в Порту-Алегри и часто упоминается как символ. ВСФ — это не организация, а скорее место встречи активистов самых разных типов и идеологий, занимающихся различными задачами, от глобальных и региональных коллективных демонстраций до местной организации по всему миру. Его девиз «другой мир возможен» выразителен, поскольку он рассматривает мировую систему как находящуюся в структурном кризисе и считает, что политические варианты реальны. Мир все чаще сталкивается с многофронтной борьбой между духом Давоса и духом Порту-Алегри.

Драматическое нападение Усамы бен Ладена на башни-близнецы 11 сентября 2001 года стало еще одним признаком глобального хаоса и поворотным моментом в политических расстановках. Оно позволило правым, стремящимся разорвать связи с центром, реализовать программу, основанную на односторонних претензиях США, базирующихся на военной мощи, в сочетании с попыткой стереть культурную эволюцию мировой системы, произошедшую после глобальной революции 1968 года (особенно в вопросах расы и сексуальности). При этом они стремились демонтировать многие геополитические структуры, созданные после 1945 года, которые, по их мнению, ограничивали их политику. Но эти усилия грозили усугубить растущую нестабильность мировой системы.

Это эмпирическое описание хаотической ситуации в мировой системе. Чего можно ожидать в такой ситуации? Прежде всего, следует подчеркнуть, что мы можем ожидать, и уже наблюдаем, колоссальные колебания во всех институциональных областях мировой системы. Мировая экономика подвержена острому спекулятивному давлению, которое находится вне контроля крупных финансовых институтов и регулирующих органов, таких как центральные банки. Повсюду наблюдается рост насилия, как в больших, так и в малых масштабах, и на относительно длительные периоды. Никто не

обладает властью эффективно подавить такие восстания. Моральные ограничения, часто навязываемые государством и религиозными институтами, значительно снижают свою эффективность.

С другой стороны, сам факт кризиса в системе не означает, что она перестанет пытаться функционировать привычным образом. Именно это она и пытается сделать. Поскольку привычные действия определили долгосрочные тенденции, приближающиеся к своим асимптотам, продолжение использования привычной методики только усугубит кризис. Однако, скорее всего, большинство людей будут продолжать совершать привычные действия. В краткосрочной перспективе это имеет смысл. Привычные действия знакомы и обещают краткосрочные выгоды; иначе они не были бы привычными. Именно потому, что колебания более значительны, большинство людей ищут безопасности в поддержании такого поведения.

Кстати, самые разные люди будут стремиться к среднесрочным корректировкам системы, которые, по их мнению, смягчат существующие проблемы. Это также распространенная модель поведения, и, по памяти большинства людей, она работала в прошлом и поэтому должна быть опробована снова. Проблема в том, что в условиях системного кризиса такие среднесрочные корректировки оказывают минимальный эффект. В конце концов, именно это, как мы уже говорили, и определяет системный кризис.

И найдутся те, кто будет искать более радикальные пути трансформации, часто под видом среднесрочных корректировок. Они надеются воспользоваться значительными колебаниями переходного периода, чтобы внести существенные изменения в рабочие процедуры, которые подтолкнут процесс в одном из направлений раздвоения. Именно такое поведение будет иметь самые серьезные последствия. В нынешней ситуации это то, что мы называем борьбой между духом Давоса и духом Порту-Алегри. Эта борьба, возможно, не находится в центре внимания большинства людей. И, конечно же, многие из тех, кто наиболее активно участвует в этой борьбе, могут счесть полезным отвлечь внимание от интенсивности борьбы и того, что поставлено на карту, надеясь достичь некоторых своих целей, не провоцируя сопротивление, которое может вызвать открытое провозглашение этих целей.

О борьбе, которая только начинает разворачиваться, и о борьбе, центральными чертами которой являются полная неопределенность исхода и непрозрачность самой борьбы, сказать особо нечего. Можно рассматривать её как столкновение фундаментальных ценностей, даже между «цивилизациями», если, конечно, не отождествлять ни одну из сторон с существующими народами, расами, религиозными группами или другими историческими группами. Ключевым элементом дискуссии является степень, в которой любая социальная система — но в данном случае, будущее, которое мы строим, — будет склоняться в ту или иную сторону двух давних центральных тем социальной организации: свободы и равенства — тем, которые гораздо теснее переплетены, чем готова признать социальная мысль в современной мировой системе.

В современном мире вопрос свободы (или «демократии») окружен такой гиперболой, что порой трудно оценить лежащие в его основе проблемы. Было бы полезно различать свободу большинства и свободу меньшинства. Свобода большинства заключается в том, насколько коллективные политические решения действительно отражают предпочтения большинства, в отличие от тех групп меньшинства, которые на практике могут контролировать процессы принятия решений. Это не просто вопрос так называемых свободных выборов, хотя нет сомнений в том, что частые, честные и открытые выборы являются необходимой, хотя и далеко не достаточной, частью демократической структуры. Свобода большинства требует активного участия

большинства. Она также требует доступа к информации для части большинства. И она требует средств для перевода мнений большинства населения в мнения большинства законодательных органов. Сомнительно, что какое-либо государство в современной мировой системе является полностью демократическим в этом отношении.

Свобода меньшинств — это совсем другое дело. Она представляет собой право каждого человека и каждой группы добиваться своих целей во всех тех областях, где нет оснований для навязывания большинством своих предпочтений другим. В принципе, большинство государств в мировой системе лишь на словах поддерживали эти права на освобождение от предпочтений большинства. Некоторые даже приветствовали эту концепцию не только как негативную защиту, но и как позитивный вклад в построение исторической системы разнообразных тенденций. Традиционные антисистемные движения отдавали приоритет тому, что мы называем свободой большинства. Революционеры мира 1968 года, с другой стороны, придавали большое значение расширению свободы меньшинств.

Даже если предположить, что все выступают за свободу — что, несомненно, является поспешным предположением, — существует огромная и бесконечная трудность в определении границы между свободой большинства и свободой меньшинств, то есть в каких сферах и по каким вопросам одна или другая имеет приоритет. В борьбе за систему (или системы), которая заменит существующую мировую систему, фундаментальное разделение будет между теми, кто желает расширить обе свободы — свободы большинства и свободы меньшинств — и теми, кто стремится создать систему без свобод под видом предпочтения либо свободы большинства, либо свободы меньшинств. В такой борьбе роль непрозрачности очевидна. Непрозрачность ведет к путанице, а путаница благоприятствует тем, кто стремится ограничить свободы.

Равенство часто представляется как концепция, противоречащая свободе, особенно когда речь идёт об относительном равенстве доступа к материальным благам. На самом деле, это две стороны одной медали. В той мере, в которой существует значительное неравенство, немыслимо, чтобы всем людям придавалось одинаковое значение при определении предпочтений большинства. И немыслимо, чтобы свобода меньшинств могла быть в полной мере соблюдена, если эти меньшинства не равны в глазах всех, равны социально и экономически, а значит, и политически. Продвижение концепции равенства подчёркивает необходимые условия для реализации свободы большинства и способствует свободе меньшинств.

При построении системы (или систем), которая заменит существующую, мы должны выбрать либо иерархическую систему, предоставляющую или допускающую привилегии в соответствии с иерархией системы, как бы она ни определялась (включая меритократические критерии), либо относительно эгалитарную и демократическую систему. Одно из главных достоинств существующей мировой системы заключается в том, что, хотя она и не разрешила ни один из этих споров — совсем наоборот! — она все больше выводит эти споры на первый план. Нет сомнения, что во всем мире люди сегодня гораздо лучше осведомлены об этих проблемах, чем столетие назад, не говоря уже о пяти веках назад. Они более осведомлены, более готовы бороться за свои права и более скептически относятся к риторике власть имущих. Независимо от того, насколько поляризована нынешняя система, это, по крайней мере, одно из ее позитивных наследий.

Переход от одной системы к другой — это период больших трудностей, большой неопределенности и глубокого переосмысления структур знания. Прежде всего, нам необходимо попытаться ясно понять, что происходит. Затем нам нужно решить, в каком направлении мы хотим, чтобы мир двигался. И наконец, мы должны определить, как мы будем действовать в настоящем, чтобы события развивались в желаемом нами

направлении. Эти три задачи можно рассматривать как интеллектуальный, моральный и политический труд. Все они различны, но тесно связаны. Никто из нас не может уклониться от выполнения этих задач. Если бы мы это сделали, мы бы действительно поступили нечестно. Задачи, стоящие перед нами, исключительно сложны. Но они предоставляют нам, как индивидуально, так и коллективно, возможность создать или, по крайней мере, внести свой вклад в создание чего-то, что может в большей степени удовлетворить наш коллективный потенциал.

ГЛОССАРИЙ

Это глоссарий терминов, используемых в этой книге. Глоссарий понятий — это не словарь. Для многих из этих терминов нет четких определений. Они часто определяются и используются по-разному другими исследователями. Конкретное использование часто основано на различных базовых предположениях или теориях. Здесь представлены термины, которые я использую, и способы их использования. Некоторые из моих случаев использования являются стандартными. Но в некоторых случаях мое использование может значительно отличаться от использования других авторов. В нескольких случаях я указал, что использую термин в сочетании с другим термином, поскольку считаю, что они образуют взаимосвязанную пару. Все эти термины, по большей части, определены, явно или неявно, в тексте. Но читателю может быть полезно иметь возможность быстро и точно сослаться на них. Ссылки от одного определения к другому обозначены ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.

Профсоюзная деятельность. Общий термин для любого вида деятельности, посредством которой люди организуются для защиты своих общих интересов. Типичным примером является профсоюз. Но существует множество других форм профсоюзной деятельности со стороны рабочих. И другие люди, не являющиеся рабочими, также могут участвовать в профсоюзной деятельности.

Деятельность, основанная на знаниях. Нейтральный термин, обозначающий любой вид академической или научной деятельности, позволяющий избежать промежуточной позиции между двумя культурами.

Асимптота. Математическое понятие, обозначающее линию, которую конкретная кривая не может достичь в конечном пространстве. Чаще всего используется в отношении кривых, порядковый номер которых измеряется в процентах, и для которых 100% представляет собой асимптоту.

Капитал. Капитал — крайне спорный термин. Обычно он используется для обозначения активов (богатства), которые используются или могут быть использованы для инвестирования в производительную деятельность. Такие активы существовали во всех известных социальных системах. Маркс использовал «капитал» не как нечто существенное, а как относительный термин, существующий только в капиталистической системе и проявляющийся в контроле над средствами производства, тем самым противопоставляя тех, кто предоставлял трудовые ресурсы, капиталисту.

Капитализм. Этот термин не пользуется популярностью в университетах, поскольку ассоциируется с марксизмом, хотя с точки зрения истории идей эта ассоциация, в лучшем случае, лишь частично верна. Фернан Бродель утверждал, что капитализм можно выбросить за парадную дверь, но он вернется через окно. Я определяю капитализм особым образом: как историческую систему, характеризующуюся приоритетом неустанного накопления капитала.

Центр-периферия. Эта пара понятий получила широкое распространение после того, как в 1950-х годах была принята Раулем Пребишем и Экономической комиссией ООН для Латинской Америки в качестве описания оси разделения труда в мировой экономике. Она относится к товарам, но часто используется и для обозначения стран, в которых эти товары доминируют. В этой книге утверждается, что ключевым элементом, отличающим центральные процессы от периферийных, является степень их монополизации и, следовательно, прибыльности.

Циклы Кондратьева. Это основные циклы расширения и стагнации. В капиталистической мировой экономике цикл, состоящий из так называемой фазы А и фазы В, обычно длится от пятидесяти до шестидесяти лет. Само существование циклов

Кондратьева подвергается сомнению многими экономистами. Среди тех, кто использует это понятие, ведутся глубокие дебаты о том, что их объясняет, и, в частности, что объясняет восходящий переход от фазы В к фазе А. Циклы названы в честь Кондратьева, русского экономиста, который писал о них в 1920 году (хотя он не был первым, кто их описал). Кондратьев называл их долгосрочными кривыми.

Исторические социальные науки. См. УНИДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ.

Циркуляционистско-производственный подход. Эти термины имеют смысл только в рамках ортодоксальной марксистской критики анализа мировых систем. Некоторые марксисты утверждают, что для Маркса важнейшей определяющей характеристикой способа производства была система производства. Следовательно, любой, кто хотел еще больше подчеркнуть важность обмена, является «циркуляционистом», а не «производственным». Были ли это собственные взгляды Маркса — вопрос спорный. Представление о том, что анализ мировых систем можно определить как «циркуляционистский», отвергается самими аналитиками мировых систем.

Классовый конфликт (или борьба). Устойчивый разрыв в современной мировой системе между теми, кто контролирует капитал, и теми, кто работает на него.

Консерватизм. Одна из трёх основных идеологий современной мировой системы со времён Французской революции. Консерватизм демонстрирует множество вариаций. Доминирующими темами всегда были глубокий скептицизм в отношении законодательных изменений и акцент на мудрости традиционных источников власти.

Управленческий персонал. В тексте этот термин используется для обозначения всех тех людей, которые не занимают высшие руководящие должности в социальной системе и не входят в подавляющее большинство, выполняющее базовые задачи. Управленческий персонал выполняет управленческие функции и часто получает вознаграждение, находящееся между вознаграждением тех, кто находится на вершине, и тех, кто находится внизу. На мой взгляд, в глобальном масштабе речь идет о 15-20 процентах населения мира.

Две культуры. Термин, введенный К. П. Сноу в 1950-х годах. Он обозначает две четко различающиеся «культуры» — в действительности, две эпистемологии — отдельных людей в гуманитарных и естественных науках. Разрыв науки и философии завершился лишь в конце XVIII века и вновь был поставлен под сомнение в конце XX века.

Мировая экономика, мировая империя, мировая система. Эти термины взаимосвязаны. Мировая система — это не система мира, а система, которая представляет собой мир и которая может располагаться, и очень часто располагалась, на территории, меньшей, чем вся планета. Анализ мировых систем утверждает, что единицы социальной реальности, в рамках которых мы функционируем и правила которых нас ограничивают, по большей части являются такими мировыми системами (в отличие от ныне исчезнувших небольших мини-систем, которые когда-то существовали на Земле). Анализ мировых систем утверждает, что всегда существовали только два типа мировых систем: мировые экономики и мировые империи. Мировая империя (например, Римская империя или Китай династии Хань) — это обширная бюрократическая структура с политическим центром и осью разделения труда, но с множеством культур.

Капиталистическая мировая экономика. В этой книге утверждается, что мировая экономика обязательно должна быть капиталистической, и что капитализм может существовать только в рамках мировой экономики. Следовательно, современная мировая система является капиталистической мировой экономикой.

Экономизм. Это критический термин, подразумевающий, что кто-то настаивает на исключительном приоритете экономических факторов для объяснения социальной реальности.

Ось разделения труда. Термин, используемый для формулировки аргумента о том, что целостность капиталистической мировой экономики обеспечивается невидимой осью, связывающей центральные и периферийные процессы (см. ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЯ).

Эластичность спроса. Термин, используемый экономистами для обозначения степени приоритета, который общество или отдельные лица отдают покупке определенного товара по сравнению с другими, независимо от цены.

Эндогенные - экзогенные. Эта пара используется для обозначения источника ключевых переменных, объясняющих социальные действия, независимо от того, являются ли они внутренними или внешними по отношению к тому, что определяется как единица социальных действий.

Эпистемология. Раздел философской мысли, анализирующий, как мы познаём то, что знаем, и как мы можем подтвердить истинность наших знаний.

Государство. В современной мировой системе государство — это территория, ограниченная границами, обладающая суверенитетом и властью над своими подданными, которых теперь называют гражданами. Сегодня все земли мира (за исключением Антарктиды) находятся в пределах границ какого-либо государства, и ни одна территория не находится в пределах границ более чем одного государства (хотя границы могут быть спорными). Государство претендует на юридическую монополию на использование оружия на своей территории в соответствии со своими законами.

Евроцентризм. Это негативный термин, обозначающий любую гипотезу о том, что закономерности, выявленные при анализе общеевропейской истории и социальной структуры, являются универсальными и, следовательно, неявными моделями для людей в других частях мира.

Экзогенный. См. ЭНДОГЕННЫЙ.

Перекладывание издержек на других. Термин, используемый экономистами для обозначения практики, позволяющей «перекладывать» определенные производственные издержки на других или на общество в целом, вместо того чтобы оплачивать их самим производителем.

Феодализм. Так обычно называют историческую систему, распространенную в средневековой Европе. Это была система раздробленной власти, в которой существовала иерархия сеньоров и вассалов. Они обменивались социальными обязательствами (например, использованием земли в обмен на определенную форму оплаты и социальную защиту). Вопрос о том, как долго эта система существовала в Европе и существовали ли аналогичные системы в других частях мира, является предметом значительных научных дискуссий.

Геокультура. Термин, введенный по аналогии с геополитикой. Он относится к нормам и дискурсивным способам, общепринятым как легитимные в рамках мировой системы. Мы утверждаем, что геокультура не возникает автоматически с установлением мировой системы, а, наоборот, должна быть создана.

Геополитика. Термин XIX века, обозначающий совокупность и манипуляции властью в рамках межгосударственной системы.

Глобализация. Этот термин был введен в 1980-х годах. Обычно считается, что он обозначает недавнюю перестройку мировой экономики, в которой давление на все правительства с целью открытия своих границ для свободного обмена товарами и капиталом необычайно сильно. Утверждается, что это результат технологического

прогресса, особенно в области информационных технологий. Термин является одновременно предписывающим и описательным. Для аналитиков мировых систем то, что описывается как новое (относительно проницаемые границы), на самом деле является циклическим явлением на протяжении всей истории современной мировой системы.

Гранд-нарратив. Критический термин, используемый постмодернистами для обозначения всех моделей анализа, предлагающих всесторонние объяснения социально-исторических систем.

Статусные группы. Этот термин является стандартным английским переводом термина Макса Вебера «Stände». Термин Вебера происходит из феодальной системы, где существовали различия между различными «порядками» или Stände (аристократия, духовенство, простолюдины). Вебер расширил этот термин, включив в него современные социальные группы, не основанные на социальном классе (этнические, религиозные и т. д.), которые демонстрировали определенный уровень солидарности и идентификации. В конце XX века в обиход вошел термин «идентичности», означающий примерно то же самое, но, возможно, с большим акцентом на субъективный характер.

Гегемония. Этот термин часто используется в широком смысле для обозначения лидерства или доминирования в политической ситуации. Антонио Грамши, итальянский теоретик коммунистического движения, следуя Макиавелли, настаивал на идеологической и культурной составляющей, посредством которой лидерство в некоторой степени легитимизируется населением, — процессе, который он считал решающим для поддержания власти элиты. В анализе мировых систем этот термин используется в более узком смысле. Он относится к ситуациям, когда государство сочетает свое экономическое, политическое и финансовое превосходство над другими сильными государствами и, следовательно, также обладает военным и политическим лидерством. Гегемонистские державы определяют правила игры. В таком определении гегемония недолговечна и саморазрушительна.

Герменевтика. Первоначально — академическая интерпретация библейских текстов. Сегодня этот термин в более общем смысле относится к эпистемологии, которая позволяет аналитику сопереживать и интерпретировать смысл социальных действий, в отличие от анализа, основанного на некотором наборе объективных способов познания, таких как статистический анализ.

Эвристический подход. Исследовательский метод решения проблем, способствующий получению знаний, но не обязательно дающий окончательные результаты.

Идентификаторы. См. СТАТУСНЫЕ ГРУППЫ.

Идеология. Как правило, это целостный набор идей, составляющих определенную точку зрения. Термин может использоваться нейтрально (у каждого есть идеология) или негативно (у других есть идеология, противоречащая нашему научному или академическому анализу). В более узком смысле этот термин используется в системном анализе мира для обозначения последовательной стратегии в социальной сфере, из которой можно сделать политические выводы. В этом смысле идеологии существовали только со времен Французской революции, после которой потребовалась последовательная стратегия для удовлетворения постоянного спроса на политические изменения, и их было всего три: консерватизм, либерализм и радикализм.

Идиографический против номотетического. Эта пара терминов была придумана в Германии в конце XIX века для описания так называемой «методологической битвы» (Methodenstreit) среди социальных ученых, отражающей разделение академического труда между двумя культурами. Номотетические ученые

настаивали на воспроизводимых, «объективных» (предпочтительно количественных) методах и видели в одной из своих задач выведение общих законов, объясняющих социальную реальность. Идиографические ученые использовали в основном качественные, нарративные данные, считали себя гуманистами и предпочитали герменевтические методы. Их главной заботой была интерпретация, а не законы, к которым они, по меньшей мере, относились скептически. (Важно отметить, что идиографический отличается от идеографического. «Идио» — это греческая приставка, означающая «конкретный», «индивидуальный» или «характерный для себя»; следовательно, идиографический означает «относящийся к конкретным описаниям». «Идео» — это латинская приставка, означающая «живопись», «форма» или «идея»; таким образом, идеографический относится к неалфавитной системе письма, такой как китайские иероглифы.)

Ведущие отрасли. Это относительно новая концепция среди экономистов, утверждающих, что ведущие отрасли существуют всегда и являются таковыми, потому что они высокоприбыльны, относительно монополизированы и оказывают значительное влияние на экономику (эти связи называются связями наступления и отступления). Поскольку ведущие отрасли являются источником больших прибылей, производители постоянно стремятся выйти на рынок в качестве конкурентов, и в определенный момент ведущая отрасль перестает ею быть.

Инфраструктура. Дороги, мосты и любые другие общественные сооружения, которые считаются необходимыми для системы производства и обмена.

Неравный обмен. Этот термин был введен Эммануэлем Аргири в 1950-х годах для опровержения концепции сравнительного преимущества Давида Рикардо. Эммануэль утверждал, что когда продукты с низкими затратами на рабочую силу (периферийные продукты) обмениваются на продукты с высокими затратами на рабочую силу (ядерные продукты), происходит неравный обмен от периферии к ядру с передачей прибавочной стоимости. Книга Эммануэля вызвала значительные дебаты. Большинство приняли концепцию неравного обмена, не приняв при этом объяснение Эммануэля о том, что его определяет или объясняет.

Либерализм. Либерализм возник как термин и как реальность в начале XIX века как антагонист консерватизма. В терминологии того времени либералы были Партией движения, а консерваторы — Партией порядка. Термин «либерализм» использовался в самых разных значениях. Для некоторых сегодня, особенно в Соединенных Штатах, либерал означает левый (или, по крайней мере, демократа Нового порядка). В Великобритании Либеральная партия претендует на центристскую позицию между консерваторами и лейбористами. В большей части континентальной Европы либеральными партиями считаются те, которые экономически консервативны, но не клерикальны. Для некоторых сущность либерализма заключается в противодействии государственному вмешательству в экономику. Но с конца XIX века многие «либералы» провозгласили себя реформаторами в пользу государства всеобщего благосостояния. Для других либерализм отражает заботу об индивидуальных свободах и, следовательно, готовность ограничить государственную власть для ограничения этих прав. Ситуацию усугубляет появление в конце XX века термина «неолиберализм», который, как правило, обозначает консервативную идеологию, подчеркивающую важность свободного рынка. Либерализм, как одна из трех идеологий (см. ИДЕОЛОГИЯ), рассматриваемых в рамках анализа мировых систем, в первую очередь занимает центристскую позицию, выступая за непрерывную (но относительно) медленную эволюцию социальной системы, расширение образования как основы гражданства, меритократию и приоритетную роль специалистов в формировании государственной политики.

Свободный рынок. Согласно классическому определению, это рынок с множеством покупателей и продавцов, обладающий полной информацией (все покупатели и продавцы знают всё об изменениях цен) и не имеющий политических ограничений на функционирование рынка. Немногие рынки, реальные или виртуальные, когда-либо соответствовали этому определению.

longue durée. См. SOCIAL TIMES.

manu militari. Латинский термин, означающий «силой».

Меритократия. Новый термин, определяющий распределение людей по должностям на основе заслуг, в отличие от родственных связей, социального положения или политической принадлежности.

Азиатский способ производства. Этот термин был введен Карлом Марксом для обозначения того, что другие считали централизованными имперскими системами, организованными вокруг необходимости обеспечения и контроля орошения для сельского хозяйства. Ключевым моментом для Маркса было то, что эти системы выходили за рамки того, что он считал универсальной, прогрессивной последовательностью «способов производства» — то есть различных способов организации производственных систем.

Монополия — олигополия. Монополия — это ситуация, когда на рынке присутствует только один продавец. Истинные монополии встречаются крайне редко. Чаще встречается олигополия, при которой на рынке присутствует лишь несколько, часто очень крупных, продавцов. Нередко эти крупные продавцы вступают в сговор для фиксации цен, в результате чего рыночная ситуация приближается к монополии. Поскольку монополии и даже олигополии чрезвычайно прибыльны, они, как правило, саморазрушаются, когда на их цены негативно влияет появление новых конкурентов на рынке.

Антисистемные движения. Я ввёл этот термин, чтобы объединить два понятия, используемые с XIX века: социальные движения и националистические движения. Я сделал это, потому что считаю, что оба типа движений имеют некоторые общие существенные характеристики, и потому что они оба представляют собой параллельные способы выражения решительного сопротивления существующей исторической системе, в которой мы живём, включая даже стремление к свержению этой системы.

Национальные движения, также называемые националистическими движениями и национально-освободительными движениями, — это движения, целью которых является защита «нации», которую, по мнению их сторонников, угнетает другая нация. Это угнетение может быть вызвано колонизацией, игнорированием национальных прав (часто языковых) или оттеснением группы людей из определенной этнической группы, претендующей на национальность, на второстепенное положение в социально-экономической структуре государства. Национальные движения часто стремятся к формальной независимости угнетенной нации — то есть к отделению от государства-угнетателя.

Социальные движения. Этот термин возник в XIX веке и первоначально использовался для обозначения движений, отстаивающих интересы промышленных рабочих, таких как профсоюзы и социалистические партии. Позже этот термин приобрел более широкое значение, охватывая все типы движений, основанных на деятельности их членов и посвященных образовательной и политической деятельности. Сегодня, помимо рабочих движений, к социальным движениям относятся также женские движения, экологические движения, антиглобалистские движения и движения за права геев и лесбиянок.

Национальное государство. Де-факто идеал, к которому стремятся все или почти все современные государства. В национальном государстве все люди являются частью нации и, следовательно, разделяют определенные основные ценности и концепции. Понятие нации определяется по-разному в разных странах. Почти всегда это означает использование одного и того же языка. Часто это означает одну и ту же религию. Говорят, что нации связаны узами, которые, как утверждают, часто существовали еще до образования государственной структуры. Большая часть этого, хотя и не всё, — чистая мифология. И едва ли какое-либо государство близко к тому, чтобы быть подлинным национальным государством, хотя мало кто это признает.

Номотетический. См. ИДИОГРАФИЧЕСКИЙ - НОМОТЕТИЧЕСКИЙ.

Олигополия. См. МОНОПОЛИЯ.

Партикуляризм. См. УНИВЕРСАЛИЗМ - ПАРТИКУЛЯРИЗМ.

Периферия. См. ЦЕНТР - ПЕРИФЕРИЯ.

Прибавочная стоимость. Этот термин несёт в себе богатую историю споров и порой скрытых дискуссий. В этой книге он означает лишь фактическую сумму прибыли, полученной от продукта, которую он, по сути, может потерять в результате неравноценного обмена.

Позитивизм. Этот термин был введен мыслителем XIX века Огюстом Контом, который также ввел термин «социология» для описания своей области. Для Конта позитивизм означал научное мышление (включая социальный анализ), не связанное с религией и философией, и представлял собой квинтэссенцию современности. Позитивизм приобрел более широкое значение, обозначая приверженность научной программе с использованием методов, наиболее хорошо представленных физикой (по крайней мере, ньютоновской физикой, долгое время не оспаривавшейся среди естествоиспытателей до второй половины XX века). В этом смысле позитивистская и номотетическая методологии (см. ИДИОГРАФИЧЕСКАЯ, НОМОТЕТИЧЕСКАЯ) по сути синонимичны. Однако историков-эмпириков часто называют позитивистами, потому что они настаивают на тесном контакте с собранными данными, даже отвергая любые номотетические стремления.

Пролетарии — буржуазия. Термин «пролетарии» начал использоваться во Франции в конце XVIII века для обозначения простых людей по аналогии с Древним Римом. В XIX веке этот термин стал использоваться более конкретно для обозначения (городских) наемных рабочих, которые больше не имели доступа к земле и, следовательно, зависели от своей заработной платы как источника дохода. Пролетарии из-за своего социального положения и радикальной идеологии (из-за своего движения) рассматривались как социальные антагонисты буржуазии в современной классовой борьбе. Термин «буржуазия» используется с XI века. Первоначально он относился к городским жителям, в частности к представителям среднего социального класса (ниже аристократа, но выше крепостного или простого рабочего). Первоначально этот термин ассоциировался с профессиями купцов и банкиров. Начиная с XIX века, термин «буржуазия» постепенно переключился с обозначения среднего класса на обозначение высшего класса, поскольку значение аристократии уменьшилось. Термин «средний класс (или классы)» часто используется как синоним термина «буржуазия», за исключением того, что он, как правило, охватывает более широкую группу людей.

Радикализм. Наряду с либерализмом и консерватизмом, это третья из основных идеологий XIX и XX веков. Радикалы считают, что прогрессивные социальные изменения не только неизбежны, но и крайне желательны, и чем быстрее, тем лучше. Они также склонны считать, что социальные изменения не происходят сами по себе, а должны продвигаться теми, кто от них выиграет. Марксизм (в его многочисленных

разновидностях) — радикальная идеология, но отнюдь не единственная. Анархизм — ещё одна. А в конце XX века появились новые группы, претендующие на звание радикальной идеологии.

Мировые религии. Это понятие стало использоваться в XIX веке для описания ограниченного числа религий, существовавших на обширных территориях, в отличие от религиозных структур племен. Стандартный список мировых религий включает как минимум христианство, иудаизм, ислам, индуизм, буддизм и даосизм.

Полупериферийные страны. Полупериферийных товаров как таковых не существует; есть основные и периферийные товары. Однако, если рассчитать, какая доля производства страны приходится на основные товары, а какая — на периферийные, то окажется, что некоторые страны имеют приблизительно среднее распределение, то есть они отправляют основные товары в периферийные регионы, а периферийные — в основные. Следовательно, можно говорить о полупериферийных странах, и мы видим, что у них особая политика, играющая особую роль в функционировании мировой системы.

Система. В буквальном смысле, некое взаимосвязанное целое с внутренними правилами функционирования и некоторой непрерывностью. В социальных науках использование термина «система» как описательного понятия оспаривается, в частности, двумя группами идиографических историков (см. ИДИОГРАФИЧЕСКО-НОМОТЕТИЧЕСКИЙ подход), которые склонны сомневаться в существовании социальных систем или, по крайней мере, считают, что социальные системы не являются основным объяснением исторической реальности; и теми, кто считает, что социальное действие является результатом индивидуальных действий (часто называемых методологическими индивидуалистами) и что «система» — это не что иное, как сумма этих индивидуальных действий. Использование термина «система» в социальных науках подразумевает веру в так называемые эмергентные характеристики. См. также ИСТОРИЧЕСКАЯ (СОЦИАЛЬНАЯ) СИСТЕМА.

Современная мировая система. Мировая система, в которой мы сейчас живем, зародилась в XVI веке в Европе и Америке. Современная мировая система — это капиталистическая мировая экономика. См. также МИРОВАЯ СИСТЕМА.

Историческая (социальная) система. Такое сочетание слов «исторический» и «система» в одном выражении используется аналитиками мировых систем, чтобы подчеркнуть, что все социальные системы одновременно являются системными (обладающими постоянными, описываемыми характеристиками) и историческими (происходящими в результате непрерывной эволюции и никогда не идентичными друг другу от одного момента к другому). Эта парадоксальная реальность затрудняет социальный анализ, но если это противоречие остается в основе анализа, результаты оказываются более плодотворными и реалистичными.

Суверенитет. Концепция международного права, впервые получившая широкое распространение в XVI веке. Она обозначает право государства контролировать всю деятельность в пределах своих границ. Иными словами, суверенитет исключает как право субрегионов оспаривать центральное государство, так и право любого другого государства вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Первоначально сувереном был монарх или глава государства, действующий от своего имени. После Французской революции он все чаще стал называться «народом».

Гражданское общество. Этот термин, появившийся в начале XIX века, стал очень популярным в последние десятилетия XX века. Первоначально он использовался как антоним слова «государство». Во Франции того времени противопоставлялись le pays légal (правовая страна, или государство) и le pays réel (реальная страна, или гражданское

общество). Это различие подразумевало, что в той степени, в которой государственные институты не отражали общество (всех нас), государство в этой степени было нелегитимным. В последние годы этот термин используется в более узком смысле, включая в себя целый ряд «неправительственных организаций», и несет в себе идею о том, что государство не может быть по-настоящему демократическим, если нет сильного «гражданского общества». Этот термин также используется, в частности, в этой книге, для обозначения всех институтов, которые не являются ни строго экономическими, ни строго политическими.

Пространство-Время. Использование заглавных букв и сочетание этих двух терминов отражает идею о том, что для каждого типа социального времени существует определенный тип социального пространства. Следовательно, время и пространство в социальных науках не следует рассматривать отдельно или измерять отдельно, а скорее как неразрывно связанные в ограниченном числе комбинаций.

Социальное время. Эта концепция, популяризованная Фернаном Броделем, предполагает, что аналитику следует сосредоточиться на различных темпоральностях, отражающих различные социальные реалии. Он различал два совершенно разных способа использования социального времени: короткое время «событий», используемое идиографическими исследователями, и «вечное» время номотетических социальных ученых (см. ИДИОГРАФИЧЕСКИЙ - НОМОТЕТИЧЕСКИЙ). Он отдавал предпочтение двум другим социальным временам, которые считал более фундаментальными: структурному времени, которое было долговременным и отражало непрерывность (но не вечность) структурных реалий, и которое он называл *longue durée*; и циклическому времени взлетов и падений, происходящих в рамках структурного времени.

Племя. Этот термин был придуман антропологами XIX века для описания единицы, к которой относились дописьменные народы. Во второй половине XX века этот термин подвергся резкой критике, поскольку его критики утверждали, что он скрывает огромное и важное разнообразие системных особенностей.

Домохозяйство. В контексте системного анализа домохозяйство — это группа людей (обычно от трех до десяти), которые объединяют различные доходы в течение длительного периода (около тридцати лет). К домохозяйству присоединяются новые члены, а старые умирают. Домохозяйство не обязательно является семейной группой, и его члены не обязательно проживают вместе, хотя часто это и то, и другое.

Однодисциплинарность. Этот термин следует четко отличать от многодисциплинарности или трансдисциплинарности. Последняя относится к ныне популярной идее о том, что большая часть проводимых исследований была бы более эффективной, если бы исследователи объединили таланты двух или более дисциплин. Однодисциплинарность подразумевает убеждение, что, по крайней мере в социальных науках, в настоящее время нет достаточных интеллектуальных оснований для различения различных дисциплин, и что, наоборот, вся работа должна рассматриваться как часть единой дисциплины, иногда называемой историческими социальными науками.

Универсализм - партикуляризм. Эта пара отражает различие между номотетическими и идиографическими подходами (см. НОМОТЕТИЧЕСКАЯ - ИДИОГРАФИЧЕСКАЯ). Универсализм — это утверждение о существовании универсальных обобщений о человеческом поведении, то есть истинных во времени и пространстве. Партикуляризм — это утверждение об отсутствии таких универсалий, или, по крайней мере, об их нерелевантности для конкретного явления, и, следовательно, роль социальных ученых заключается в объяснении того, как работают конкретные явления или структуры.

Теория сравнительного преимущества. Дэвид Рикардо, английский экономист XIX века, утверждал, что даже если страна производит два товара с меньшими затратами, чем другая страна, ей будет выгоднее сосредоточиться на производстве только одного из них — того, который она производит с наименьшими затратами, — и обменивать этот продукт со второй страной на второй товар. Это называется теорией сравнительного преимущества. Рикардо проиллюстрировал это на примере Португалии, которая должна сосредоточиться на производстве вина и обменивать его с Англией на текстиль, даже несмотря на то, что она производит текстиль с меньшими затратами, чем Англия. Эта теория лежит в основе многих аргументов в пользу глобализации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Для читателей, желающих глубже изучить эту тему, я составил библиографический справочник в четырех частях:

- 1) мои собственные работы, развивающие аргументы, представленные в этой книге;
- 2) работы других специалистов по анализу мировых систем, в которых некоторые из этих тем представлены относительно по-разному;
- 3) работы, в которых конкретно критикуется анализ мировых систем;
- 4) соответствующие работы предшественников, особенно тех, на которых я ссылался в этом тексте. Этот справочник не претендует на исчерпывающий характер, а является лишь отправной точкой.

I. Сочинения Иммануила Валлерстайна

Существует сборник из двадцати восьми статей, первоначально опубликованных в период с 1960 по 1998 год, который объединяет мои эссе по всем темам, относящимся к категории анализа мировых систем. Книга называется «The Essential Wallerstein» (New Press, 2000) [Исторический капитализм и антисистемные движения, Мадрид, Akal, 2004]. Темы, разработанные в главе 1, подробно изложены в отчете комитету, который я возглавлял, «Open to Social Sciences» (Stanford University Press, 2001) [Открытие социальных наук, Мехико, Siglo XXI, 2002] и «The Uncertainties of Knowledge» (Temple University, 2004).

Темы глав со 2 по 4 анализируются в моей книге «Современная мировая система» (три тома, Academic Press, 1974, 1980, 1989) [«El moderno sistema mundial», Мехико, Siglo XXI, 1979–1998] и в книге «Исторический капитализм с капиталистической цивилизацией» (Verso, 1995) [«El capitalismo histórico», Мадрид, Siglo XXI de España, 1988]. Также существуют три сборника эссе, опубликованные издательством Cambridge University Press: «Капиталистическая мировая экономика» (1979), «Политика мировой экономики» (1984) и «Геополитика и геокультура» (1991). Более поздний сборник, «Конец света, каким мы его знаем» (University of Minnesota Press, 1999) [«Познание мира: конец того, что было изучено», Мексика, Siglo XXI, 2001], обеспечивает связь между эпистемологическими и основными темами анализа мировых систем.

Две книги посвящены конкретным темам. Одна из них — «Антисистемные движения» (совместно с Джованни Арриги и Теренсом К. Хопкинсом, Verso, 1989) [«Антисистемные движения», Мадрид, Akal, 1999]. Вторая — «Раса, нация, класс» (совместно с Этьеном Балибаром, Verso, 1991) [«Раса, нация и класс», Мадрид, IEPALA, 1991].

Наконец, анализ настоящего и будущего, обсуждавшийся в главе 5, подробно изложен в трех книгах, опубликованных издательством New Press: «После либерализма» (1995), «Утопистика» (1998) и «Упадок американской мощи» (2003). Существует также сборник эссе под редакцией Теренса К. Хопкинса и меня, озаглавленный «Траектория мировой системы, 1945–2025» (Zed, 1995).

Полную библиографию можно найти по адресу <http://fbc.binghamton.edu/cv-iw.pdf>

II. Сочинения аналитиков мировых систем

Здесь я указываю только тех, кто считает себя приверженцем системного анализа мира. И я включаю только работы широкого масштаба (в отличие от эмпирических исследований конкретных ситуаций).

Джанет Абу-Лугод, «До европейской гегемонии: мировая система, 1250–1350 гг. н.э.» (Oxford University Press, 1989). В этой книге предпринята попытка проследить историю современной глобальной системы до периода, предшествующего тому, который рассматривается в книге «Современная мировая система».

Самир Амин, «Накопление в мировом масштабе: критика теории недоразвития» (Monthly Review Press, 1974). Опубликованная на французском языке в 1971 году, эта работа, возможно, стала первым всеобъемлющим изложением видения современного капитализма с точки зрения анализа мировых систем. Недавняя работа о будущем мировых систем — «Устаревший капитализм: современная политика и глобальный беспорядок» (Zed, 2003).

Джованни Арриги, «Долгий двадцатый век: деньги, власть и истоки нашего времени» (Verso, 1994) [Мадрид: Akal, 1999]. Несмотря на название, эта книга посвящена развитию современной глобальной системы, рассматриваемой через призму обширных циклов накопления капитала с XIII века до наших дней. Также существует книга, написанная Арриги и Беверли Сильвер (и другими), «Хаос и управление в современной мировой системе» (University of Minnesota Press, 1999) [Мадрид: Akal, 2001], представляющая собой сравнительное исследование последовательных гегемонистских переходов.

Книга Криса Чейз-Данна «Глобальное формирование: структуры мировой экономики» (Basil Blackwell, 1989) представляет собой теоретическую интерпретацию структур глобальной капиталистической экономики. Также, книга Чейз-Данна и Томаса Д. Холла «Взлет и падение: сравнение мировых систем» (Westview, 1997) является лучшим примером попыток сравнения различных типов мировых систем.

Арриги Эммануэль, «Неравный обмен: исследование империализма торговли» (Ежемесячный обзор, 1972) [«Неравный обмен», Мексика, Siglo XXI, 1972]. Опровержение теории Рикардо о взаимной выгоде международной торговли, эта книга положила начало концепции «неравного обмена».

Андре Гундер Франк, «Мировое накопление, 1492–1789» (Monthly Review, 1978). Наиболее ясное и полное изложение его позиции в первый период его работы. Его более поздняя работа, «Переориентация: Глобальная экономика в азиатскую эпоху» (University of California Press, 1998), включает радикальную переработку, в которой он утверждает, что глобальная система существовала более пяти тысяч лет, что она была сосредоточена в основном в Китае и что капитализм не является важным понятием. См. критику в трех эссе Самира Амина, Джованни Арриги и Иммануила Валлерстайна в журнале Review 22, № 3 (1999).

Теренс К. Хопкинс и Иммануил Валлерстайн, «Мирово-системный анализ: теория и методология» (Sage, 1982). Эссе Хопкинса являются наиболее важными методологическими работами в рамках традиции миро-системного анализа.

Питер Дж. Тейлор, «Современность: геоисторическая интерпретация» (Полито, 1999). Интерпретация некоторых геокультурных моделей в современной мировой системе.

Кроме того, существует ежегодная секция конференций «Политическая экономия мировых систем» (PEWS) Американской социологической ассоциации. Эта секция выпускает один или несколько томов в год. С 1978 по 1987 год они издавались издательством Sage под названием «Ежегодники политической экономии глобальной системы», а затем с 1987 по 2003 год — издательством Greenwood под названием «Исследования по политической экономии мировых систем». В 2004 году они были опубликованы издательством Paradigm Press. Также существуют два ежеквартальных издания, публикующих материалы, связанные с мировыми системами. Одно из них —

Review (издается Центром Фернана Броделя по изучению экономики, исторических систем и цивилизаций); другое — онлайн-издание, Journal of World-System Research, <http://jwsr.ucr.edu>.

Наконец, существует сборник из шестнадцати эссе под редакцией Томаса Д. Холла под названием «Сборник статей по мировым системам» (Rowman and Littlefield, 2000), который включает обзор точек зрения на различные темы.

III. Критика анализа мировых систем

В этот раздел включены только те авторы, которые целенаправленно критиковали анализ мировых систем за его различные недостатки. Большинство этих критических замечаний были изложены в статьях, а не в книгах.

Самая ранняя и одна из самых известных критических работ принадлежит Роберту Бреннеру: «Истоки капиталистического развития: критика неосмитианского марксизма», New Left Review I/104 (июль-август 1977 г.): 2592. Она была адресована Полу Свизи, Андре Гундеру Франку и мне и возобновила ортодоксальную позицию сторонников производственного подхода, сосредоточенную в Англии на марксизме Мориса Дobbа.

Вскоре после этого появились две критические статьи о «Современной мировой системе» (том 1), написанные представителями «государственно-автономистской» школы: Теда Скокпол, «Мировая капиталистическая система Валлерстайна: теоретическая и историческая критика», American Journal of Sociology 82, № 5 (март 1977 г.): 1075-1090; и Аристид Золберг, «Происхождение современной мировой системы: недостающее звено», World Politics 33, № 2 (январь 1981 г.): 253-281. И Скокпол, и Золберг признавали свою зависимость от позиций Отто Хинтце.

Критика культурологической теории существовала непрерывно. Первая и наиболее полная из них принадлежит Стэнли Ароновицу, «Метатеоретическая критика книги Иммануила Валлерстайна «Современная мировая система»», Theory and Society 10 (1981): 503-20.

Критика со стороны некоторых ученых из стран третьего мира несколько отличается; они утверждают, что анализ мировых систем не освободился от евроцентризма. См. Энрике Дюссель, «За пределами евроцентризма: мировая система и пределы современности», в Ф. Джеймсон и М. Миёси, ред., «Культуры глобализации» (Duke University Press, 1998), 3-37.

Несмотря на резкую критику со стороны убежденных позитивистов, они никогда не считали целесообразным проводить систематический анализ мировых систем.

IV. Соответствующие работы: предшественники или влиятельные тексты других исследователей, занимающихся анализом данной темы на протяжении длительного времени.

Здесь мы снова представим авторов и укажем только одну или две из их наиболее важных работ.

Перри Андерсон, «Родословная абсолютистского государства» (New Left Books, 1974). [«Абсолютистское государство», Мексика, Siglo XXI, 1979.] Обзор истории раннего Нового времени в Европе, в котором утверждается, что абсолютизм все еще был формой феодализма.

Книга Энн Бейли и Джозефа Ллоберы (ред.), "Азиатский способ производства: наука и политика" (издательство Routledge and Kegan Paul, 1981), является хорошим введением в эту дискуссию.

Фернан Броделль, «Цивилизация и капитализм, XV–XVIII века», 3 тома. (Harper and Row, 1981–1984) [«Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII века», Мадрид, Alianza, 1984]. Классическая методологическая статья «История и социальные науки: долгосрочная перспектива» была опубликована в журнале *Annales ESC* в 1958 году.

Людвиг Дехио, «Хрупкое равновесие: четыре столетия европейской борьбы за власть» (Alfred A. Knopf, 1962). Важный и краткий обзор геополитики современной глобальной системы.

«Несчастливые земли» Франца Фанона (Grove, 1968) [«Несчастливые земли», Мексика, Фонд экономической культуры, 1994] — это важнейшее теоретическое произведение, оправдывающее применение насилия национально-освободительными движениями.

Отто Хинтце, «Исторические очерки Отто Хинтце», под редакцией Роберта М. Вердала (Oxford University Press, 1975). Важное влияние исторической интерпретации на автономистскую государственную школу.

Р. Дж. Холтон (ред.), «Переход от феодализма к капитализму» (Macmillan, 1985). Этот том содержит дискуссию Добба-Свизи, а также статьи многих других авторов.

Николай Кондратьев, «Долгосрочный цикл» (Ричардсон и Зиндер, 1984) [«Долгосрочные экономические циклы», Чешант, Великобритания, General Data Publications, 1995]. Недавний перевод классического эссе 1920 года.

«Капитал» Карла Маркса (1859) и «Манифест коммунистической партии» (1848) — вероятно, его самые важные работы.

Уильям Макнейл. Его обычно считают предшественником «всемирной истории», которая подчеркивает как преемственность человеческой истории, так и глобальные связи, уходящие корнями в далекое прошлое. Лучшим введением в эту тему является работа, написанная им в соавторстве со своим сыном, Дж. Р. Макнейлом, «Человеческая сеть: взгляд с высоты птичьего полета на всемирную историю» (W.W. Norton, 2003).

Карл Поланьи, «Великая трансформация» (Райнхарт, 1944) [«Великая трансформация», Мексика, Фонд экономической культуры, 1992]. Классическое и наиболее влиятельное его произведение, представляющее собой критику точки зрения, согласно которой социальный рынок является неким естественным явлением.

Рауль Пребиш, первый исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Латинской Америки, обычно считается основоположником анализа глобальной экономики по принципу «центр-периферия». Трехтомное собрание его работ называется «Работы, 1919-1948» (Фонд Рауля Пребиша, 1991).

Книга Ильи Пригожина «Конец определенности: время, хаос и законы природы» (Free Press, 1997) [«Конец определенности», Сантьяго, Андрес Белло, 1996] — это новейшее и наиболее ясное изложение его взглядов. Название определяет суть.

«Экономические циклы» Йозефа Шумпетера, 2 тома (McGraw Hill, 1939) [«Экономические циклы», Сарагоса, University Presses of Zaragoza, 1997], — наиболее важная из его книг, в которой он утверждает, что продолжительные циклы начались не в XIX веке, а в XVI.

Адам Смит, «Богатство народов», Его имя часто упоминается в 1776 году, но едва ли я это читал, и очень жаль. Маркс говорил, что он не марксист, а Смит, конечно же, не был сотрудником Смитсоновского института.

Макс Вебер, «Общая экономическая история» (Культурный экономический фонд, 1942), лучший источник по истории экономики современного мира.

Эрик Вольф, «Европа и народы без истории» (издательство Калифорнийского университета, 1982) [«Европа и народы без истории», Мексика, Экономический Фонд культуры, 1987] освещает историю и судьбу неевропейских народов современной глобальной системе.